

Б И Б Л И О Т Е К А

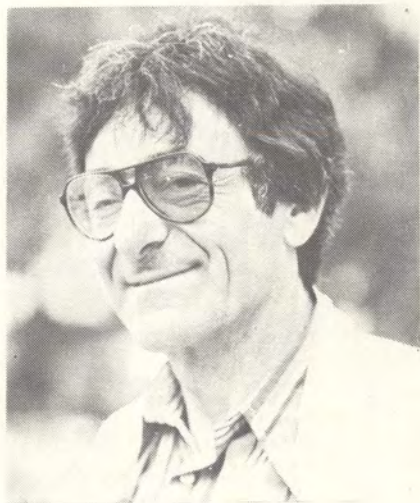
ISSN 0132-2095



ОГОНЁК

№ 39

1989



Георгий ГАЧЕВ

**Ж И З Н Е -
М Ы С Л И**

МОСКВА
ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ПРАВДА»

БИБЛИОТЕКА «ОГОНЕК» № 39

Издается с января 1925 года

Георгий ГАЧЕВ

**ЖИЗНЕ-
МЫСЛИ**

Москва. Издательство «ПРАВДА»
1989

Георгий ГАЧЕВ

Георгий Дмитриевич Гачев, писатель и ученый-культуролог, родился в 1929 г. в Москве. Окончил филологический факультет МГУ в 1952 г. Работал учителем в Брянске и матросом Черноморского пароходства. С 1957 г. научный сотрудник Академии наук СССР: сначала в Институте мировой литературы, где занимался теорией литературы и эстетикой, с 1972 по 1985 г. в Институте истории естествознания и техники, где, по его словам, «пытался строить мост между гуманитарной культурой и науками о природе», сейчас — в Институте славяноведения и балканистики, где занят описанием национальных образов мира. Доктор филологических наук, автор 8 книг и около 100 статей и эссе.

В первой книге Г. Гачева «Ускоренное развитие литературы» (1964) предложена своего рода «теория относительности» применительно к гуманитарной культуре. Книга получила премию им. Паисия Хилендарского Болгарской Академии наук (1980). Вопросы теории литературы и эстетики посвящены книги: «Содержательность художественных форм. Эпос. Лирика. Театр» (1968), «Жизнь художественного сознания (Очерки по истории образа)» (1972), «Творчество, жизнь, искусство» (1980). Национальное понимание мира исследовано в книгах: «Образ в русской художественной культуре» (1981), «Национальные образы мира» (1988), «Чингиз Айтматов в свете мировой культуры» (1989). Философская экология развита в брошюре «Смысл Растения» — «Человек и природа», 1989, № 5.

Однако главный труд Г. Гачева — жизненно-философский дневник, который он ведет уже 30 лет и внутри которого и научные сочинения, перечисленные выше, и гораздо более — еще не опубликованных. Фрагменты из дневника «жизнемыслей» печатались в «Огоньке», «Литературной газете», «Литературной учебе», «Семье», «Семье и школе», «Юности», «Просторе», «Музыкальной жизни», «Студенческом меридиане» и др.

ГОСПОДИН ВОСХИЩЕНИЕ

(ПОВЕСТЬ ОБ ОТЦЕ)

27 сентября 1926 года к причалу Ленинградского порта подошел пароход из Гамбурга. По трапу на берег с чемоданчиком книг и нот спустился 24-летний политэмигрант из Болгарии Димитр Гачев. В Московскую консерваторию поступило следующее ходатайство Коминтерна, подписанное Георгием Димитровым:

«В Московскую Государственную Консерваторию.

Товарищ Гачев, политэмигрант из Болгарии, принят в Консерваторию в качестве слушателя. Однако ему не было предоставлено места в общежитии Консерватории из-за недостатка постельных принадлежностей. Принимая во внимание, что тов. Гачев, будучи эмигрантом, не имеет возможности устроиться где-либо в другом месте в жилищном отношении, кроме общежития Консерватории, и не в состоянии на собственные средства приобрести необходимые ему постельные принадлежности, Представительство Болгарской компартии в Коминтерне просит устроить его при общежитии Консерватории и в виде исключения предоставить ему вышеуказанные вещи.

Представительство БКП убеждено, что Консерватория удовлетворит просьбу Гачева, так как дело касается помощи многообещающему товарищу, на которого партия возлагает большие надежды в будущем, когда он окончит Консерваторию.

11 декабря 1926 г.

За Представительство БКП при И.К.К.И. Г. Димитров».

Переплелась дорога жизни Митко Гачева с путем Колеса Истории.

Он родился в городке Брацигово у подножия Родопских гор 29 января 1902 года. Его отец, народный учитель Иван Гачев, преподавал историю и географию, Закон Божий и французский язык, а кроме того, создал любительский театр на уровне профессионального. Дом Гачевых был центром брациговской интеллигенции, тут разыгрывались спектакли и концерты, в которых все четверо детей участвовали: Велика и Георгий декламировали, Руска (русифил был Иван Гачев и дочь назвал в честь страстно любимой Матушки России) пела, а младший, Мит-

ко — играл на флейте. С флейтой он поднимался в горы, где, по преданию, некогда пел Орфей, и выпитывал красоту. «Господин Восхищение» — так окрестила брата старшая сестра Велика. Сама она — уже социалистка, как и Георгий, юрист и офицер, что проводил революционную агитацию среди солдат своей роты на фронте Первой империалистической войны. В гимназии имени Ивана Аксакова в Татар-Пазарджике Димитр с еще пятью единомышленниками основывает кружок «Максим Горький», где они читают Маркса и Ницше, Горького и Пшибышевского, Достоевского и Каутского. Соученик по гимназии Иван Тырпоманов так рассказывал о нем: «Оратор! Буйный! Пел, декламировал! Сразу было видно, что этот человек не доживет до своей старости. Потому что не поступал, как положено, не ходил проторенными путями...»

В Дневнике 18-летнего Димитра такие записи: «2 мая 1920... Было поздно, и я спешил в клуб, где на предмайской вечеринке должен был декламировать «Проклятие певца». И я его продекламировал с чувством и страстью. Вечеринка кончилась полвторого ночи. Впервые в нашем клубе мы разыгрывали лотерею: портреты Кр. Раковского, Ленина, Розы Люксембург и Троцкого шли по 1000 левов. В два часа я лег, не ужинав и выкурив 4 сигареты на голодный желудок. Умышленно и сознательно я хотел истощить свой организм и выглядеть больным, чтобы наутро, 1 мая, не участвовать в экскурсии по приказу министерства, цель которой была — отвлечь учеников от манифестации.

23 мая. Только что вернулся с прогулки. Вел спор с двоюродным братом Митко и Ангелом Джинджифоровым — оба анархисты — об анархизме и коммунизме... И вопрос: «Быть или не быть?» я в последний раз сегодня подтверждаю: «быть!» — для искусства, т. е. вложить все свои силы и средства, не жалея никаких жертв, для достижения все большего совершенства в его области.

В Дневнике — переживания его первой, романтической любви — к Вере Павловой. Ей он устраивал серенады, сочинял музыку... «30 мая... Прозвучал второй звонок — мы молчали; третий — взялись за руки на прощание, и я ей сказал: «Прощай! и знай, что после коммунизма и музыки больше всего я любил тебя, Вера!» Я сошел, и поезд тронулся».

Окончив гимназию, Димитр переезжает в Софию, где учится в Музыкальной академии, играет в военном оркестре, работает хористом в Народном театре. В 1921 г. он вступает в Коммунистическую партию. Он секретарь союза артистов и музыкальных деятелей, примыкающего к компартии, пишет статьи в газету «Артист».

1923 год. Сентябрьское антифашистское восстание подавлено. Старший брат Георгий переходит на нелегальное положение: в военной организации Болгарской компартии он — руководитель Софийского округа. Димитр работает учителем в селе в горах, арестован и в 1924 г. эмигрирует в Западную Европу. Там он работает на заводе Форда в Бельгии, в мастерской по изготовлению дамской обуви в Париже. По вечерам он — в библиотеке, на концерте, в опере, жадно выпитывает культуру. Ночами тоже читает. «16.X.1925 г. Антверпен. Дорогие роди-

тели! Пишу вам из моего «рабочего ателье» — дощатого барака с двумя окнами, широкой дощатой лавкой, динамо-насосом в 500 вольт... Этим утром начал работу в 6 часов... Сейчас насос продолжает свой монотонный ход, а я отдыхаю. Стола нет. Обломок доски, положенный на колени, его заменяет... Всегда на моей лавке находятся шедевры французской классики или книги о музыке. И так я осуществляю идеал будущего рабочего, который одновременно будет и интеллигентом, и наоборот: всякий интеллигент — рабочим... Живу в поле в длинном рабочем бараке. Не скучаю, потому что всегда у меня есть чем заняться: оперы, библиотеки или беседы с рабочими фламандцами и голландцами... Я очень часто играю им на флейте, а они мне подносят пиво...»

Но его мечта — Париж, центр европейской культуры! Суровую отповедь, однако, на это он получает от своего старшего брата: «9.XII.1924. Мите! Очень странное впечатление производит на меня твое желание оставить Льеж и переехать в Париж, в город des beaux arts («изящных искусств» — видимо, так иронически цитируются слова из письма Димитра. — Г. Г.)... Ты неисправимый идеалист с дон-кихотскими замашками и часто совершаешь патентованные, скандальные глупости... Считаюсь с действительностью..., не будь таким... односторонним нищезанцем... Неужели ты не можешь понять, что искусство и голодный желудок непримиримы и несовместимы! (На полях письма поперек этой и следующей строк рукою Д. Гачева написано: «Не верно!» — Г. Г.)... Ты поедешь в город искусств, чтобы осуществлять себя! Не знаю, понимаешь ли ты, в какое комическое положение попадаешь? Словно ты сын Гендовича (крупный болгарский промышленник. — Г. Г.) и с карманами, полными банкнот, отправляешься в Париж смотреть искусство, изучать его и критиковать. Мы дрожим и мерзнем посреди капиталистической зимы и мечтаем о весне, когда способные, такие, как ты, смогут осуществлять самих себя, а ты в разгар страшной зимы бросился на улицу в летнем костюме, вообразив, будто кругом май, и что твое лицо ласкает зефир вместо сурового и бешеного зимнего вихря».

В опере, на «Кольце Нибелунга» Вагнера, Димитр оказывается рядом с молодой бельгийкой и ночью пишет письмо «Прекрасной незнакомке», где рассказывает о себе и излагает свое «Кредо».

— 24.V.1925. Антверпен. (Пер. с франц.) «Вся жизнь молодого чужестранца прошла под тончайшими впечатлениями искусства и природы — чувств, мучительных до боли, сладостных до опьянения. Когда бы Вы жили жизнью природы в самой природе, этом гигантском храме Пана (античный бог природы. — Г. Г.) и Орфея!..» Себя он ощущает сыном древнего и молодого народа, кто призван влить новую жизнь в цивилизацию закатной Европы...»

Но она оказывается уже помолвлена: ее жених — инженер и, верно, технократ и буржуй, — и во втором письме Димитр дает волю своей ярости по отношению к бездуховной цивилизации: «Сегодняшняя... жизнь, с ее дисгармонией шумов, расчетливостью, кино и дансингом, расстроила гармоническое царство древнего Пана... Нет больше гармонического

слияния человека с природой, ... нет больше любви... Человек, это утилитарное двуногое капитализма, оглушенный шумом, отравленный дымом и алкоголем, разучился чувствовать пространство, любить торжественную тишину леса, видеть солнце. Он даже не понимает, насколько он стал банальным, бездуховным... Но молодой чужестранец, окруженный всею этой мерзостью современной жизни, не покорится. Он будет бороться. Соединив свою душу с душой всего протестующего мира, он глубоко верит, что божественное царство Пана будет восстановлено. И тогда счастье прольет все свои блага на человечество, замученное веками; тогда гармония и любовь будут управлять миром в вечности, тогда Человек станет Богом».

Второе письмо датировано 25 мая 1925 года. В этот день в Софии в квартале «Хаджи Димитр» был убит Георгий Гачев. Вот шаги Судьбы и ухмылка Хроноса! Один брат истаивает в любовной истоме, а другой восходит на свою Голгофу!..

Смерть Георгия сокрушила отца: он умер через год. Его последнее письмо брату Димитру — как стенание Иова, до богобоязливости тут поднимается патриархальный «бай Иван»: «28.X.1925. Брацигово... События, случившиеся этой весной, отравили мою душу, и я сейчас стою, как одеревенелый. Смотрю на животных, смотрю на коз, овец, корс з — и им завидую. Зло берет меня на Провидение, т. е. на Бога, который создал человека на муки и тяготы... Надо было сотворить его одной ступенью выше нынешней, чем-то ближе к ангелам... Или создал бы его одной ступенью ниже — ближе к четвероногому животным (конечно, не к хищным кровопийцам, каково большинство людей сейчас), но к травоядным... И тогда бы человечество было самым счастливым, потому что некому было б колоть и убивать, и некого колоть и убивать. Все свои усилия я употребляю, чтоб превратиться в вола, и потому часто хожу с сельскими коровами, телятами и провожу жизнь с ними. И сколь приятно мне, сколь мило на душе, когда смотрю на эти невинные создания. Когда же возвращаюсь в город и захожу в корчму, все мое естество впадает в ужас! Я вижу ощетилившихся зверей, жаждущих человеческой крови. И много крови вылакали и готовятся еще лакать. Но эта кровь однажды, может быть, их отравит».

Тем временем молодой Димитр перенацеливается с Запада на Восток. Вот его письмо Георгию Димитрову:

«15.XII.1925. Берлин. Дорогой тов. Димитров! Я здесь уже 15 дней. Жду разрешения выехать в Москву, где, согласно одному твоему письму, мне может быть выделена небольшая ежемесячная субсидия для учебы в тамошней консерватории. Мои денежные средства ограничены и более долгое пребывание в Берлине может их совсем осушить. Да и учебный год уже давно начался, и пора, думаю, мне приняться за более серьезную работу. Время, проведенное здесь, — почти потерянное время. Поэтому прошу тебя, тов. Димитров, ускорь мой отъезд в Москву. С товарищеским приветом — Д. Гачев».

И вот уже восторженные письма летят к родным в Болгарию: «15.I.1926. Берлин... Сейчас мой вопрос окончательно разрешился! На днях прибыл из Москвы один из высоких товарищей и сказал, что моя стипендия уже разрешена... Это прекрасно, не правда ли?.. Жить двумя великими идеями: к о м м у н и з м о м и м у з ы к о й и с энтузиазмом и любовью работать на их ниве — это для меня очень большое, даже вероятно большое счастье».

«7.IX.1926. Париж. Дорогие мои! Это — факт. Через несколько дней буду в пути. В субботу скорый поезд понесет меня к Идеалу. Я счастлив, бесконечно счастлив».

«10.X.1926. Москва... Пять дней уже, как я здесь, в Москве, центре нового послевоенного СССР. Радость моя велика, неопишима. Провести несколько лет здесь, где кипит бурная жизнь и где создается новая, демократическая культура; — это больше, чем счастье для меня. Остается и вам радоваться вместе со мной. Конечно уже с нищетой и всякими бессмысленными занятиями. С этого месяца начинаю учение в консерватории. ...Художественная жизнь первая в своем роде. Ни в одной из многих европейских столиц, которые я посетил, я не видел того, что нашел и увидел здесь. Поистине здесь выковывается новая жизнь человечества».

14.III.1927. Москва... Я уже студент консерватории, на музыкально-научно-исследовательском отделении. При своем поступлении я представил научную работу, или этюд о вагнеризме. При его подготовке я пользовался богатой французской и немецкой литературой.

24.XI.1927. Москва... Да, мои дорогие сестры и мама, я живу так, как никогда и даже в своих снах не мечтал. Я двигаюсь в высококвалифицированной музыкальной среде, которая вдохновляется двумя возвышенными идеалами: искусство и коммунизм.

...Последний месяц ознаменовался и еще одним событием в моей жизни. Я встретил мою подругу, о которой я только мог мечтать... Мы любим так, как только в романах любят, или, правильнее сказать, мы любим так, как зрелые, оформленные, сознательные коммунисты без всяких иллюзий могут любить. Мы прекрасно понимаем и подходим друг другу... Нас более всего связывают Бах, Бетховен, Вагнер, Мусоргский, Скрябин, Коммунизм, Природа¹.

3.V.1929. Москва... Настоящее письмо несет вам великую радость: 1 мая у нас родился сын, которого мы назвали именем погибшего, любимого брата Георгия».

Димитр Гачев не мог быть просто мирным студиозусом, но естественно было ему, со всей горячностью своего южного темперамента, включиться в музыкально-общественную жизнь тех бурных лет. Он входит в руководство Российской Ассоциации пролетарских музыкантов.

¹ Мирра Семеновна Брук (р. 1904) — жена и друг Д. Гачева; музыковед, автор книги «Бизе», М., Музгиз, 1938; свыше 30 лет преподавала историю музыки в Муз. пед. институте им. Гнесиных.

общества «Музыка — массам», одно время — редактор журнала «Пролетарский музыкант». При всех молодых «загибах», эти люди несли музыкальную классику в народ, создавали хоровые и оркестровые коллективы на заводах, боролись против мещанства и пошлости на эстраде.

Арам Хачатурян вспоминает: «По своей внешности Гачев заметно выделялся. У него был острый взгляд, горячий темперамент, быстрые, порывистые движения... Это был человек большого ума, большой культуры. Казалось, что, несмотря на свою любовь к музыке и ее всестороннее изучение, ему словно «тесно» в мире музыки и что он может смело вторгаться в область смежных искусств». И верно: в 1931 г. Д. Гачев поступает в Институт красной профессуры, где занимается философией, эстетикой, а историю литературы слушает у Луначарского. И. А. Сац, литературный секретарь Луначарского, вспоминает о Гачеве: «Он был красивым без слащавости, серьезным без педантизма, веселым и дельным. Больше же всего — Луначарский не раз говорил мне это — он ценил в Гачеве безупречную честность и прямоту, полную свободу от карьеристских или других каких-либо своекорыстных побуждений».

В 1934 г. Гачев защитил диссертацию «Эстетические взгляды Дидро», вышедшую в Гослитиздате в 1936 г. Его статьи — на стыке музыки, литературы и философии: «Вагнер и Фейербах», «Музыка в звуковом кино», «Декарт и эстетика», «Стендаль о музыке», «Ромен Роллан — художник-музыкант», «Героический реализм — творчество Бетховена». Он развивал идеи синтеза в культуре. «Художник в мышлении и аналитик в искусстве» — так определил Д. Гачева писатель Людмил Стоянов.

В 1935 г. Д. Гачев начинает работать в Гослитиздате, где заведует сектором западных классиков. Он пишет статьи о Пьере Корнеле, Генрихе Гейне, Анатоле Франсе, Христо Смерненском и др. Литературовед Е. Ф. Книпович, работавшая в те годы в его редакции, вспоминает: «Этот милый, легкий, веселый человек был эрудитом трех профилей. Литературовед, который равно чувствовал себя дома не только в болгарской и русской, но и во французской литературе, философ и музыковед, — он по праву был авторитетом... А ведь в то время для отдела работали столь разные люди, как академик В. Вернадский, как ленинградцы В. Жирмунский и М. Алексеев, как В. Гриб и Н. Вильмонт, Ф. Шиллер и Ю. Данилин...»

«У меня две страсти: музыка и горы», — не раз говорил он жене. Кавказ напоминал ему родные Балканы. М. Б. Храпченко, будущий академик, вспоминает, как в походе вымотались они однажды, и некоторые стали жаловаться на неустроенность ночевки. «Дмитрий Иванович слушал все это и вдруг воскликнул: «Друзья, посмотрите, какая ночь!.. Вы очень быстро забудете наши сегодняшние маленькие неудобства, а на pewno, запомните эти далекие улыбающиеся звезды, таинственный шум реки, доносящийся издалека, вой шакалов, и этих больших птиц, привлеченных нашим огоньком, пугливо пролетающих мимо нас». Слова эти как-то сразу изменили настроение уставших путешественников. По-

шли шутки, веселые реплики, и мы совсем по-новому ощутили удивительную прелесть летней ночи в горах.

Д. Гачев предпринимает издание музыкально-исторических трудов Ромена Роллана в Музгизе и вступает в переписку с ним. Роллан заинтересованно откликнулся: «7 марта 1937. Вильнев (Во), вилла Ольга. Дорогой товарищ Гачев! Ваше письмо от 29 января живо меня тронуло, обратив мою мысль к памяти Вашего мужественного брата. Я счастлив узнать, что такой человек, как Вы, обладающий столь глубоким проникновением в мое творчество (что редко, очень редко даже среди моих друзей), взял на себя труд по изданию полного собрания моих музыкально-ведческих работ». В 1938 году первый том вышел, но фамилия Гачева была в последний момент с титульного листа содрана.

Вечером 23 февраля 1938 года Дмитрий Иванович Гачев пришел домой с радостным известием: его приняли в Союз писателей.

В ту же ночь за ним пришли...

26.VII.1938. Владивосток. Мои дорогие Мама, Мирочка и Геночка! Вот уже неделя, как я нахожусь во Владивостоке. Отсюда скоро поеду в трудово-исправительный лагерь (вероятно, Колыма), куда я сослан на восемь лет¹ постановлением Особого Сопсования НКВД от 14 мая 1938 г. Я остаюсь тем же верным сыном партии, как и раньше, тем же преданным коммунистом, как и раньше, так же верю в партию большевиков, в ЦК, в Сталина, как и раньше, и думаю, что вопрос о моей высылке будет пересмотрен. Я прекрасно сознаю, что меры, принятые партией и правительством в период подготовки новой войны, какой мы теперь переживаем, меры, направленные на изоляцию некоторых иностранных элементов, абсолютно правильны и исторически неизбежны.

...Поездка по Транссибирской магистрали была чертовски интересна. Самое замечательное было то, что поезд кружил на протяжении 300 км. по берегам величественного Байкала... Пересыльный лагерь находится недалеко от одной живописной бухты Тихого океана, и здесь бывают замечательные закаты солнца.

18.VIII.1938. Колыма. (Жене)... И хотя судьба повернулась несколько иначе, я живу с твердой верой, что мне когда-нибудь удастся политически реабилитировать себя. А пока каждая вывезенная мною тачка драгоценной породы камня еще больше укрепляет у меня сознание, что она идет на усиление экономической мощи нашей социалистической Родины. И это сознание крепит у меня волю и физические силы в далекой Колыме.

...Моя дорогая подруженька Мирочка, 10 лет мы прожили с тобой дружно, в интенсивной и плодотворной творческой работе на фронте

¹ На 8 лет с правом переписки — это еще, по тем временам, гуманно. Оттого и есть у нас 41 колымское письмо. Однако, читая их, надо держать в уме, что они — под лагерной цензурой. Иногда встречаются неточности в русском языке (болгаризмы). Я их не выправлял, так как стертые обороты ими освежаются. — Г. Г.

социалистической культуры, куда партия нас послала. Ты для меня была и женой, и самым близким другом и товарищем, и незаменимым помощником в моей творческой работе. Эти десять лет для меня были самыми счастливыми годами моей жизни... Теперь, после случившегося со мной... я, однако, не могу дальше связывать твою судьбу с моей, и совершенно естественно, что ты должна расторгнуть наш брак. Прости меня за те оскорбления и огорчения, которые я тебе наносил. И теперь, как и раньше, твой образ для меня остается чистым, светлым и прекрасным... Прошу только от времени до времени уведомлять меня о твоём здоровье и о здоровье нашего драгоценного сыночка Геночки.

4.XII.1938. (Жене)... А пока я мечтаю об одном — о флейте. Никогда в жизни она не была для меня так дорога, как теперь. В Москве, где я буквально утопал в волнах любимого искусства — музыки, понимаю, — флейта для меня не представляла особого интереса. А теперь — это главное средство общения с ней. Кроме того, — и это самое важное и существенное — здесь неплохой духовой оркестр, и я смогу немедленно включиться играть в оркестре, лишь бы была флейта... И, естественно, оркестранты получают более легкие работы и вообще поставлены в лучшие условия, как носители культуры в лагере. Вот почему получение флейты для меня является важнейшим делом, которого нельзя оценить никакими деньгами.

4.XII.1938. (Сыну)... В древние времена, две с половиной тысячи лет тому назад, жил замечательный маленький народ — греки, учитель всего человечества. Идеалом воспитания юношества у древних греков считалось гармоническое сочетание физического и духовного начала у человека. Человек должен быть крепок, здоров, красив и богат духом, существом всесторонне развитым... Так вот, милый сыночек. Твое развитие идет несколько односторонне. Умственно ты шагнул весьма далеко, а физически ты отстал — являешься второгодником... Твое тело, которое отстало, должно догнать твою душу... А для этого тебе нужно ЕЖЕДНЕВНО теперь, зимой, кататься на коньках и лыжах. Парк-то рядом, а там такой замечательный каток...

12.IV.1939. Прииск «Разведчик». (Жене). Прошла благополучно первая свирепая колымская зима. Морозы достигали до 60°. Когда-то я не мог себе представить, что такое 50—60—70 градусов мороза, и вот пришлось испытать, и весьма чувствительно...

14.VI.1939. Верховному Прокурору СССР от Гачева Д. И., бывшего члена К. П. Болгарии с 1921—1926, ВКП(б) с 1926—1938, находящегося в заключении в СВИТЛАГЕ НКВД Бухта Нагаево.

Постановлением Особого Совещания НКВД от 14 мая 1938 г. я осужден на 8 лет заключения в исправительно-трудовых лагерях за «контрреволюционную троцкистскую деятельность». Арестован был я 24 февраля 1938 г. С первого дня следствия мне было предъявлено обвинение «подозрение в шпионаже». После провала этого обвинения — «контррев. деятельность» вообще. Ни к одному из этих обвинений следствием не

были предъявлены никакие факты и доказательства, т. к. их не было и не могло быть.

...В качестве одного из доказательств того, что я вообще не имел никакого отношения к контррев. троцкизму и абсолютно не интересовался им, я на следствии указал, что из всех «произведений» оберфашистского бандита Троцкого я прочел всего две статьи — одну в «Правде» за 1927 г. и вторую в одной из французских буржуазных газет, название которой я забыл, в 1934 г. Последний факт и явился основанием следствия для моего обвинения в к-р-т-деятельности. Следствие даже не обратило внимания как на чистую случайность моего знакомства с вышеуказанной статьей, так и на то, что в личной беседе я использовал эту статью в качестве одного из доказательств полного перехода троцкизма на службу к фашизму. Привожу для сведения всю эту историю, поскольку она является единственным основанием моего обвинения в контррев. троцк. деятельности.

В марте 1934 г. я находился на лечении в санатории для Московского партактива (станция Голицыно). В санаторий приехал Пенджерков, болгарский революционер, недавно прибывший в СССР из Болгарии. Он принес завернутые во французской газете продукты. Французского языка он не знал и не понимал. Жил он тогда в одном номере гостиницы «Пассаж» вместе с покойным революционером Кабовым, недавно до этого приехавшим из Франции в СССР лечиться от туберкулеза, полученного им в итоге десятилетнего томления в фашистских тюрьмах в Болгарии. На столе у последнего находилась куча французских газет, и Пенджерков, отправляясь в санаторий, взял первую попавшуюся, ничего не подозревая, что там статья Троцкого. Увидя французскую газету, я естественно познакомился с ней. Эти же дни в нашей палате, где жили и два старые коммуниста, зашел разговор о фашистском перерождении троцкизма, и я сослался как на пример на статью Троцкого.

Вот и вся «история» моей «контрревол. троцк. деятельности». К сожалению, работники, ведущие мое следствие (фамилии их я не помню), вместо того чтобы реабилитировать меня, применили ко мне столь недопустимые методы ведения следствия, что я считаю невозможным о них говорить подробно здесь. В итоге, доведенный до тяжелого физического и морального состояния, я был вынужден, с целью прекратить эту трепку, пойти на недостойный советского гражданина поступок — подписать клевету на себя. В подписанном мною протоколе фигурировало уже не случайное мое знакомство с одной из французских газет, а преднамеренное получение мною «троцкистской газеты». Отсюда как вывод — «факт» нелегального распространения к-р-троцк. литературы. Мой случайный разговор в палате... превратился уже в «субъективно не являясь троцкистом, объективно в пропаганду контрреволюц. троцк. идей»... Гражданин Прокурор, я невиновен. Прошу пересмотреть мое дело и вернуть меня на вольную трудовую жизнь. Мой адрес: Д. Гачев, Бухта Нагаево, город Оротукан, Прииск «Разведчик».

4. II.1939. (Жене). Мой дорогой дружок!.. Хочу признаться тебе в одной искушающей меня идее, над которой я думаю вот уже год. Правда, виновником этой идеи являешься ты. Как-то раз, несколько лет тому назад, я рассказал тебе несколько эпизодов из моей жизни. Они тебе так понравились, что ты высказала мысль, что они достойны художественного отображения; после этого я стал думать о романе, посвященном Сентябрьскому восстанию в Болгарии. Эту мысль, как только она появлялась, я изгонял, будучи убежденным, что я или не созрел для этого, или вообще не способен к художественному творчеству. Последние годы я совсем перестал думать об этом. Однако с тех пор, как я смел профессию советского литератора на профессию колымского горняка, я опять возвратился к этой старой идее. Хотел я этого или не хотел, но голова, будучи абсолютно свободной от какой бы то ни было другой деятельности, стала лихорадочно работать. Таким образом я уже мысленно создал сюжет, каркас, отдельные главы, отдельные эпизоды и положения, характеристики отдельных героев двух повестей — первой, посвященной советской жизни, второй — западной. По своему жанру повести эти будут близки к философским повестям Вольтера и Дидро («Кандид» и «Племянник Рамо»). Боже упаси обвинить меня в «чванстве» — сравнивать себя с этими титанами. Основное содержание их — изображение нового человека, новых отношений между людьми, вопросы социалистической культуры в действии. Главное: герои должны быть конкретно раскрыты посредством их страстной любви к природе, музыке, философии...

15.VIII.1939. (Жене). Дорогой мой дружок!.. Здесь, на Колыме, я имею много времени думать о «великих творческих эпохах» прошлого, об искусстве древних греков, о Ренессансе, о Шекспире, о классической немецкой философии и, наконец, о нашем любимейшем из искусств — о музыке. Не имея возможности слушать большую классическую музыку, я непрерывно ее напеваю или насвистываю. Я и здесь остался таким же неутомимым свистуном, как и на воле, и, по-видимому, таким же я останусь до самой моей смерти.

30.VIII.1939. (Жене)... Горький когда-то и где-то говорил: «Если у тебя в голове заведутся вши, это, правда, неприятно, но если в ней зародятся мысли — как будешь жить?» (Цитирую на память, за точность не ручаюсь.) И вот мысли, творческие мысли меня терзают уже полтора года беспрерывно... Но довольно морочить тебе голову мечтами и планами о творчестве. «Голодной курице просо снится», — говорит старая поговорка. И неужели надолго мне будет снится это просо, неужели я «враг народа» и должен пропадать в далекой и холодной Колыме? Нет, я не «враг народа», а коммунист, который благодаря какому-то страшному и до сих пор не объяснимому мне стечению обстоятельств арестован и осужден на 8 лет заключения в дальних лагерях. Я верю в разум и справедливость партии, и ошибка со мной (и не только со мной) должна быть исправлена соответствующими органами.

В тюрьме я впал в тяжелую физическую и моральную депрессию и подписал на себя клевету. Пусть гг. Димитров и Коларов, мои дру-

зья — ты, Георгий, Дима, не вините меня за это! Я не железный человек, а просто человек, отсюда и слабость, допущенная мною в тюрьме. Ленин умел прощать Некрасову, когда в его лире зазвучали иные, фальшивые звуки. О, я не Некрасов, но моя «лира» в тюрьме фальшиво (и я бы сказал, трагически) забренчала. Собственно говоря, я в этом невиновен, а скорее винить здесь конкретную обстановку, в которую я попал. Поэтому я считаю, что имею право просить — тт. Димитрова и Коларова и у вас менее строгого отношения. Во имя той, хотя бы небольшой пользы, которую я еще могу принести в строительстве советской и болгарской культуры, — сделайте все от вас зависящее и освободите меня! 3.XI.1939. (Жене). Дорогой мой друг. Получил твою последнюю телеграмму. Огромное тебе спасибо за твои хлопоты о пересмотре моего дела. Твое последнее сообщение, что мое дело уже затребовано Прокуратурой для пересмотра, меня сильно обрадовало. Тем с большей силой, постоянством и упорством заработала опять моя голова... Но не о творчестве вообще думаю теперь я, а о художественном творчестве, о художественном произведении, написание которого явится главной, если не единственной задачей оставшейся моей жизни. И произведение это должно быть посвящено болгарскому революционному народу. Та национальная гордость, о которой писал когда-то Ленин, национальная гордость болгарского революционера и коммуниста, о которой так пламенно говорил Димитров в Лейпциге, является теперь главным стимулом моих творческих устремлений.

...Правда, это несколько поздно. Мне скоро исполнится 38 лет, а пока я получу свободу, а значит, получу возможность и писать (не печататься, а писать; печататься — будет зависеть от многих еще обстоятельств), пройдут еще несколько лет, и мне будет 40 или 40 с лишним. Возраст весьма солидный для «начинающего» писателя! Ну что ж, придется горько мириться с этим фактом, тем более что в истории литературы были люди, которые начинали и позже, как Стерн, например. 19.VIII.1940. «Разведчик». (Жене). На днях исполнилось два года моего лагерного существования и начался третий. Юбилей не из радостных, но ничего не поделаешь. Тем не менее в смысле здоровья итог весьма положительный: физическая работа горняка почти совершенно излечила мои головные боли и ненормальности в работе желудка. Во-вторых, северная жестокая зима значительно закалила мой организм. К ней я уже был подготовлен моими альпинистскими занятиями на протяжении ряда лет. Мои хождения по Кавказу пошли в пользу. О другом, духовном росте можно и не говорить: я застыл на одном месте. Вернее, я потерял многое из того, что раньше знал хорошо или неплохо, — память значительно ослабела. Вся моя духовная жизнь за два года состояла в прочтении нескольких книг классиков и советской литературы, отдельных номеров «Огонька», изредка устарелые газеты, и все. Последние месяцы я с трудом достал учебник английского языка Кобленца (у которого когда-то занимался) и здесь его скоро прошел. По прочтении твоего июньского письма я долго не мог уснуть... То, что Коминтерн дал поло-

жительный отзыв обо мне в Прокуратуру Союза и Миша (М. Б. Храпченко, тогда председатель Комитета по делам искусств.— Г. Г.) обещал содействовать,— может сыграть решающую роль в моем освобождении. Но, по правде говоря, я на этот счет не делаю себе никаких иллюзий и терпеливо готовлюсь к третьей колымской зиме. Именно: дело в очередности и сроке. А пока нужно ждать и ждать. Правда, я часто прочитываю про себя замечательные стихи Байрона — Лермонтова:

Пусть будет песнь моя дика.
Как мой венец, мне тяжелы веселья звуки.
Я слез хочу, певец,
Иль разорвется грудь от муки.

(Цитирует «Еврейскую мелодию» с искажениями, но важно, что удержала и как трансформировала стих память ээка.— Г. Г.).

Часто также напеваю тот же романс Глилки «Сомнение» (который ты со слезами на глазах наигрываешь на рояле), особенно последний, заключительный мотив: «я плачу, рыдаю». Но все же стараюсь превозмочь эти звуки и направить свою мысль в другое направление — по направлению мечтаний. Я как и был, так и остался мечтателем. Мечтателем я, по-видимому, и умру. Об этом можно написать целую лирическую повесть. Но теперь не место об этом болтать.

29.XII.1940—12.I.1941. (Жене)... Я уже, по-видимому, изрядно надоел со своей навязчивой идеей (все — о замысле романа «Борис Огнев». — Г. Г.), но ты меня прости. Видишь, я выдумал себе какой-то иллюзорный мир, с ним я сжился в моих мыслях и фантазиях, и иногда мне кажется во сне и наяву, что вот то, о чем я мечтаю, оно и есть в действительности. Но это всего короткие мгновения, которые исчезают, а затем еще ярче выступает настоящая действительность. Иногда мне кажется, что я не учился 22 года, не окончил два высших учебных заведения, не готовился к культурно-просветительной деятельности, никогда не знал счастья борьбы, труда, настоящего творческого труда, ничего не читал, не писал, ничего не видел, ничего не слышал, не знал ни Толстого, ни Рембрандта, ни Бетховена и Чайковского, что я не глотал жадно европейскую гуманистическую культуру — там, на Западе, и у нас в СССР, не изучал иностранные языки. Все это, может быть, и было когда-нибудь, но в отдаленном прошлом, которое уже забыто, воспоминания о нем стерты, стерта также острота былых впечатлений и переживаний. И не это как будто было основное в моей жизни, а нечто иное, а именно: лопата и тачка, топор и пила, что я с ними сжился или, вернее, поженился с давних пор, с юности, и стал уже профессионалом в этой области...

17.II.1941. (Жене). ...Я сильно огорчен тем обстоятельством, что ты не получила мои прошлогодние письма (4) и телеграммы. Твое последнее письмо от сентября меня глубоко взволновало: ты меня считаешь уже умершим! С тех пор мне больше не пишешь, значит, напрасно писать

мертвому — не так ли? О, милый друг, я живу и еще буду жить. Поэтому рассей мрачные мысли и начни писать почаще.

Мое дело разбирается долго, очень долго. По-видимому, его скоро и не разрешат. Мысленно я настраиваюсь сидеть и сидеть. Я уже достаточно закалился переносить суровую колымскую зиму. Я работал на открытых работах — на заготовке и перевозке леса и дров. Работал на морозе до 66 гр. по десяти часов и, видишь, даже не простудился. О головных болях я забыл почти. Но то, что я основательно попортил, — это сердце. Два с половиной года как я, за исключением непродолжительного времени, работаю на тяжелых работах. На них я испортил свой «пламенный мотор». ...К тому еще у меня началась цинга.

Когда-то я думал или надеялся спасти свое здоровье, участвуя в художественной самодеятельности своим инструментом. Но здесь искусством мало интересуются, и с мая прошлого года совсем оно у нас прекратилось.

...О художественном творчестве я больше не думаю. По-видимому, я был когда-то охвачен каким-то бредом сумасшедшего. Этот бред прошел, и я этим доволен.

Началась война. Мы с матерью были эвакуированы в деревню Казанка возле Бугульмы в Татарии. Переписка прервалась. Как рассказывали впоследствии вернувшиеся из заключения: «враги народа» просились на фронт, в том числе и Д. Гачев. Но им отказывали.

25.VIII.1943. (Жене). ...Теперь грандиозная война, которая охватила весь советский народ и на фронте, и в тылу... Твое сообщение о вероятной гибели нашего лучшего друга Георгия (Караджова, соученика Д. Гачева еще по гимназии «Иван Аксаков», затем работника Коминтерна; он пошел добровольцем в ополчение. — Г. Г.) меня потрясло. Солдатом революции был он, солдатом революции отдал жизнь.

10.XI.1943. (Жене)... Несколько слов о нашем художественном коллективе. (Флейта, которую мы ему послали, шла полтора года, две навигации — и наконец прибыла. Д. Гачева включили в Оротуканскую культбригаду, и условия его жизни улучшились. — Г. Г.). По своему характеру — это эстрадный музыкально-драматический коллектив в лучшем смысле этого слова. В нем драматическая группа из четырех актеров, один певец (из ленинградского Малого оперного театра — баритон), два плясуна, один виртуоз-балалаечник, и оркестр — всего 16 человек. В наших программах преобладает классическая музыка, советские песни и по одному номеру западноевропейской танцевальной музыки... Мы все время в разъездах, уезжаем глубоко в тайгу на прииски, летом часто выступали на вольном воздухе прямо в забоях и играем немаловажную роль в художественной жизни дальнего Севера... Меня очень беспокоит вопрос о музыкальном воспитании Геночки. Мне кажется, что здесь он отстает. Пускай он не будет профессионалом-музыкантом, и, вернее всего, он им и не будет (и это, пожалуй, хорошо), но чтобы он стал музыкально культурным человеком, чтобы он мог хорошо играть

на фортепиано, свободно разбирать музыкальную литературу, свободно играть в четыре руки большую классическую музыку, чтобы вы вдвоем — ты и он (будет ли это когда-нибудь?!) — играли в четыре руки симфонии Бетховена, Мендельсона, Моцарта, Чайковского, а я в это время где-нибудь в углу комнаты упивался бы великими открытиями музыкального искусства. Вот моя мечта! И ты должила медленно, но верно готовить Геночку к этому семейному празднику... По мере сил и возможности я стараюсь вести свою самостоятельную духовную жизнь и, общаясь с «оракулами веков» ... я чувствую, что интеллектуально все еще существую.

11.III.1944. (Жене). ...Кстати, в Оротуканской библиотеке я нашел «Племянник Рамо» Дидро с моим предисловием и комментарием, а также журнал «Советская музыка» от 1934-го с моей статьей о «Вагнере и Фейербахе». Они у меня — я их не возвратил. Приятно было прочесть себя после столь долгого перерыва. Ничего написал, старик, пожалуй, хорошо. Вместе с английскими книжками вышли и свою книгу о Бизе (Мирра Брук. Бизе. М., Музгиз, 1938. — Г. Г.).

10.V.1944. Нексикан. (Жене)..... Нексикан находится недалеко от морозного полюса земного шара, который больше уже не Верхоянск, а на стыке восточной Якутии и Колымы. Приехали мы сюда в январе, и тогда вплоть до конца февраля держались страшные морозы между 50° и 60°. В такое время по земле стелется густой туман, и днем можно различать предметы не дальше, чем до ста метров. В течение целого месяца мы не имели никакого представления об окрестной природе, и только в конце февраля на пару дней несколько потеплело, туман поднялся, и перед нами несколько расширился горизонт. Теперь весна. В долинах и ущельях снег растаял, остался он лишь на сопках. Природа здесь очень живописная и для художников и вообще для поэтических натур является источником радости и эстетического наслаждения. Правда, здесь, на Колыме, многие потеряли элементарное чувство прекрасного, но оно у меня крепко живет и будет жить до последнего вздоха.

5.VII.1944. Мой милый Георгий! (Стал уже по-взрослому называть. — Г. Г.) Я очень обрадовался, что ты наконец понял свою ошибку относительно немецкого языка... Кроме немецкого, ты берешь встречный план — английский язык. Это меня чрезвычайно обрадовало. Если ты окончишь среднюю школу, овладев двумя иностранными языками, о' это будет блестяще, мой дорогой! Здесь, однако, не надо забывать старую русскую поговорку: погонишься за двумя зайцами — не поймашь ни одного. Хотя я считаю, что при соответствующей усидчивости и постоянстве прекрасно можно справиться с этой задачей. Хочу тебе указать, что пример моего покойного брата, имя которого ты достойно носишь, может послужить тебе превосходным уроком. Окончив классическую гимназию, он свободно читал (без помощи словаря) французскую и русскую литературу в оригинале и древнегреческую и римскую литературу при небольшой помощи словаря.

19.X.1944. (Жене)... То, что меня особенно обрадовало в твоём последнем письме, — это то, что ты наконец опять возвращаешься к педагогической деятельности (мать стала читать историю музыки в Институте им. Гнесиных. — Г. Г.)... Не придавай особого значения мелким укусам. Они были и будут и в будущем. ...И ещё хочу тебе напомнить, что тебе необходимо возобновить твои публичные чтения — в лектории Московского университета и в филармонии... Ты владеешь живым человеческим словом, ярким и порой вдохновенным, и этот редкий дар и божью искру надо развивать дальше, а не ограничивать и стеснять.

22.X.1944. Нексикан. (Сыну)... Твое письмо об итогах учебного года меня несколько насмешило и в то же время и огорчило. Насмешило оно меня потому, что я в самом деле ожидал какую-то трагедию или катастрофу, случившиеся с тобой, хотя никак не мог подумать — что именно это могло быть? Когда дальше узнал, в чем дело, — я не удержался и расхохотался. Огорчило меня оно потому, что такая мелочь и, я бы сказал, чепуха — получение в первый раз четверки «за всю жизнь» (?!?), то есть пятнадцать прожитых лет и за восемь лет учебы в школе, — могла вызвать у тебя такие трагические переживания...

Тот факт, что ты являешься одним из первых учеников школы, может быть, особенно щекочет твоё самолюбие и делает тебя тщеславным. О, милый сын мой, знай, что подобное самолюбие и тщеславие — суета сует и всяческая суета, как говорил когда-то мудрый царь Соломон... Интеллектуальное благородство культуры предполагает и благородство характера. Простота, естественность, вдумчивость, сосредоточенность, доброта — вот к чему нужно стремиться...

2.XII.1944. (Сыну)... Твое письмо от января м. этого года, в котором ты мне сообщал, что окончательно определил твою будущую область работы — литература, я получил только осенью. Меня оно очень обрадовало, потому что ты сам пришел к этому решению без никакого со стороны влияния. По правде говоря, это была моя сокровенная мечта, но я не хотел насиловать твою волю, зато одновременно писал Мире, чтобы она направляла твоё развитие именно в эту сторону.

...Поскольку ты сам уже предначертал свой будущий путь, необходимо еще теперь начать тебе работать методически и по строго выработанной системе... Мне представляется следующий план сжатого изучения мировой художественной литературы в основных ее представителях... (Следует список на двух страницах: от Гомера до Гамсуна. — Г. Г.)

5.VII.1945. (Жене)... Что касается сердца — то здесь дело обстоит просто-напросто плохо. Это не сердце, а какая-то руина... Я перманентно чувствую на левой стороне грудной клетки, что у меня там какое-то гнилое место, комок, который болезненно сжимается. А еще Декарт в свое время говорил, что если ты ощущаешь работу данного органа твоего тела, значит, он нездоров... А в остальном, прекрасная маркиза, все хорошо — как поется в известной песенке...

Что касается головных болей — они совершенно исчезли вот уже седьмой год. Но зато у меня сильно пошатнулась память — это уже плохо. Но мне, может быть, не придется больше базироваться на работе го-

ловного мозга и на самой нежной его оболочке, в которой сосредоточены, как говорят физиологи, мыслительные способности человека, так что катастрофическая потеря памяти не большая беда. Остается одно вегетативное существование — и то хорошо.

По внешнему виду я совсем состарился. Правда, на голове нет еще ни одной седины, но вот уже несколько лет, как меня по-простонародному окликают «батя», «отец»...

Наконец, с осени прошлого года я живу одной лишь мыслью, мыслью о моей Болгарии, которая вновь благодаря доблестной Красной Армии зажила свободно. Я, подобно бедной Маргарите из гетевского «Фауста», часто напеваю шубертовскую музыкальную поэму:

Mein Ruh ist hin,
Mein Herz ist schwer,
Ich finde sie nimmer
Und nimmermehr.

(В моем дубовом переводе это будет значить: «Мой покой улетел, сердце тяжело, к нему (покою) я больше никогда не вернусь».)

Я мечтаю о той широкой литературной, просветительской и публицистической деятельности, которую я мог бы развернуть там, и эта мысль, которая не покидает меня никогда, часто гонит мой сон, и утром встаю, не сомкнув ни на минуту глаза. К тому же теперешние белые ночи очень благоприятствуют этому.

10.VIII.1945. (Сыну)... Ты теперь стоишь перед величайшей дилеммой — литература или музыка. В разрешении этого жизненного вопроса лучше руководствоваться своей собственной природой, своими собственными симпатиями и наклонностями, не насиловать, а также не преувеличивать их значение. Трудно, разумеется, теперь тебе определенно сказать самому, какую область выбрать. Но если тебя начали уже серьезно беспокоить и волновать музыкальные идеи, мысли, мелодии, «планы» симфонических разработок, то лучше не прерывать их дальнейшего развития, а наоборот, помогать и еще больше углублять их развитие... Итак, мой юный друг,— если окончательно бросил жребий, то я тебя благословляю на этом пути. Путь этот будет, может быть, скорее тернистым, чем гладким и усеянным розами, но если природа-мать наделила тебя талантом, то ты усидчивостью и упорным трудом завоеешь когда-нибудь мастерство и добьешься успеха.

Обнимает тебя твой отец — Дмитрий.

10.VIII.1945. Нексикан. (Жене)... Сегодняшнее твое письмо меня так обрадовало, что я, читая его, несколько раз прослезывался. Последнее время при больших эмоциях я стал часто прослезываться (не плакать, а именно прослезываться). Не стал ли я слишком сентиментальный? Не признак ли это наступающей старости, хотя душой (не сердцем, конечно) я еще молод. Ну ладно, без лирики, к делу.

Мои заявления посланы наркомам в мае и июне с ПОЛОЖИТЕЛЬНОЙ характеристикой от местных организаций... Твое последнее пись-

мо проникнуто такой бодростью и оптимизмом, что сам начинаю верить, что, возможно, меня реабилитируют. Я смотрю на это как на величайший акт моей жизни, как событие, от которого я начну новую богатую плодотворную и творческую Жизнь... Прошу передать Василию Петровичу (Коларову.— Г. Г.), что Доверие, которое он и Георгий Михайлович (Димитров.— Г. Г.) оказывают мне, постараюсь оправдать в максимальной степени. За семь лет колымской жизни я не растерялся и не потерял себя. Мои письма — тому доказательство... Так что я мог бы броситься в дальнейшее плавание в любой момент, была бы только воля.

С осени прошлого года я живу в каком-то вечно возбужденном состоянии. Мысленно я живу только там, вместе с тобой, с моим лучшим другом, на переустройстве и строительстве новой Болгарии. Какие светлые перспективы, какие широчайшие поля деятельности, творческого труда, созидания!.. Я опять разболтался. Пожалуй, об этом лучше не мечтать. Если придет счастье, пускай приходит внезапно.

В ноябре 1945 года через Москву проезжал в Болгарию освобожденный с Колымы хирург Коста Стоянов (будущий генерал). Мы с матерью пришли к нему на встречу. Он сказал, что за двух болгар специальные ходатайства Димитрова и Коларова: за него и за Гачева, так что ждите его скоро.

Как рассказывал оставшийся в живых член культбригады В. К., Дмитрий Иванович уже готовился к освобождению, даже не готовил программу к 7 ноября. И срок его выходил уже в феврале 46-го. И вдруг ночью в барак культбригады входят конвоиры и уводят несколько человек, и среди них Гачев. Устроен был процесс. Культбригаду разогнали. То ли разговоры какие там подслушивали — люди же интеллигентные собрались в культбригаде и возбуждали зависть. Слух дошел, что на суде на Гачева орал: «Тебя прочат в болгарские Луначарские? Так этому не бывать! А за тачку не хочешь?..» И вlepили ему еще 10 лет — на рудники или на строительство дорог...

20 марта 1946. пос. Нексикан. Здравствуйте, Мира! Простите, что мы не знаем друг друга и я называю Вас — Мира, но Ваше имя врзалось мне в память еще с 1940 года — момента встречи на прииске «Разведчик», где я встретился с Дмитрием и разговорился с ним на его родном языке, где мы с ним работали пару лет, затем он уехал на Хегу, а затем на Золотистый и оттуда уже попал в центральную агитбригаду Оротукан, и уже артистом, Митя, приезжал к нам на прииск, и я с ним встречался, как с близким человеком. Затем, волею судеб, Митя, с агитбригадой переехал в Нексикан, где у него с Вами была регулярная переписка до известного времени, а затем, вдруг, оборвалась по неизвестным Вам причинам, и сколько Вы не писали — все кануло в вечность, — и сколько бы Вы не писали — молчание. Многоуважаемая Мира! — Тяжело и больно будет мне раскрыть Вам доподлинную правду — то что я вчера узнал от одного артиста — ошеломило меня, как обухом по голове...

Дорогого Вам мужа и отца Дмитрия Ивановича НЕ СТАЛО. С работ (даты я не могу назвать — так эта весть меня ошеломила, что я не

помню, что он мне дальше говорил) привели Митю, и он, болея сердцем,— умер.

Сделайте запрос по адресу: Адыгалах Хабаровского края — Дорлаг — Начальнику Дорлага т. Иванову. Или Кардычкину. Адреса Вам своего не даю, если буду жив и здоров и закончу срок — постараюсь лично увидеть Вас. Хочу увидеть сына и рассказать многое.

Миша.

С 1955—56 года стали появляться уцелевшие, рассказывали сначала скупо, потом — пооткровеннее. Я кое-что записал.

12.VII.1964. Был у нас Поступальский — сидел на Колыме, встречался с отцом. Рассказал версию его гибели, которая там ходила: — Он совершил красивый, но донкихотский поступок. Когда в 44-м году освободили Болгарию, Польшу, — начали выпускать поляков, болгар, но вызывали их и требовали с них подписку, что ничего не будут рассказывать о том, что видели здесь и что с ними было. Отец же, вызванный, сказал, что он, как честный коммунист, считает своим долгом по прибытии в Москву, а затем и в Болгарию — сообщить партии о том, что здесь творится. Тогда скоро сформировали ему второе дело, перевели из культбригады опять на тачку, и он там скоро погиб. Верно или не верно, но от многих людей он слышал эту версию про гибель Гачева.

Мать сказала Поступальскому:

— А какие письма писал оттуда! Все — о высоких вещах: о музыке, литературе.

— А что же он еще мог писать? — улыбнулся Поступальский.

И верно — как же нам это не приходило в голову! Цензура же лагерная. Разве мог он о бытовой стороне своего существования писать?

И далее — рассказывал, как в войну приезжал на Колыму вице-президент США и какую там ему потёмкинскую деревню устроили.

22.IV.1976. Еду к матери на встречу с человеком, который сидел с отцом. Приехал из Иркутска — Николай Иосифович Тохнир.

— Дмитрий Иванович меня образовывать старался: о литературе, философии, жизни рассказывал. Я жаловался ему, что память слабеет. У всех там — от работы и недоедания. Д. И. «астоял, чтобы я стал «Евгения Онегина» учить наизусть (соседу эту книгу прислали) — и я выучил и долго помнил... Пытался меня французскому учить...

Еще Ваш отец дружил с профессором Иоффе — физик или химик. Когда нас перегоняли 15 тысяч человек зимой с одного прииска на другой, за 40 км, главное было — не отстать, иначе — били плетью (на лошадах был конвой); так этот Иоффе вышел из рядов и по голому полю пошел по снегу вбок. Ему кричали: «Вернись!». А он шел. И конвой его расстрелял. На саморасстрел пошел человек. Но таких смертников я мало видел. Еще Ковтюх был, которого Серафимович в «Железном потоке» как Кожуха описал. Мне показали его на пересылке под Владивостоком. Он лежал, отказывался есть, ни с кем не разговаривал, гордый такой: видно, перестал хотеть жить... А из «врагов» только одного видел за все время: троцкист один о себе в тюрьме так и говорил, что он троц-

кист, и Сталина проклинал... А даже для меня Сталин казался непричастен к этим делам, что с нами творились. Но Д. И. понимал, что все это не без высшей руки делалось.

...Отморозил я раз ногу (три пальца у меня потом отрезали) и в санчасть ходил просить освобождения. Долго не давали. Однажды подожу и вижу в окно: печку железную санитар разжег и посадил вокруг мертвецов. Люди замерзали насмерть в забоях или на работах дорожных, а чтобы освидетельствовать, кто умер, надо было снять отпечатки пальцев: с мерзлого же тела отпечаток не дается. Вот и размораживал он им руки, чтобы установить личность умершего (фамилии кто там мог точно знать? Перепутывались!) — и поставить в формуляры.

(Так и отец, умерший, был перекрещен в «Грачева»; потом спохватились, верно, что в списке был «Гачев», решили соединить: живую душой был отец «Гачев», мертвою стал — «Гачев-Грачев». И долго нам с матерью пришлось мытариться по конторам, чтобы идентифицировать личность отца. — Г. Г.)

Или подходишь — спотыкаешься, как о дрова. А это руки-ноги мертвых. А вот двоих на салазки связывают; блатной одной ногой опробывает и говорит: «Вот изобретатель паровоза Ф. Д. (Феликс Дзержинский) дубаря врзал»... А блатные не работали особо. Они так говорили: «Вы на воле начальники, там ваше житье, а здесь — наше. Здесь вы поработайте...»

Еще два эпизода — по воспоминаниям М. Ш.

...Как-то работали мы с ним в ночную смену в открытом золотоносном карьере. Два кайла, две совковые лопаты, огромный санный короб с ляжками-упряжками — весь наш нехитрый арсенал... Задача состояла в том, что мы должны были разрыхлить кайлами взорванный и промерзший золотоносный грунт, загрузить им до отказа короб и, впрягшись в него, потащить его на высоченную насыпь... Мороз не менее 55 градусов. Туман. Едва видим друг друга. Стоять, ничего не делая, нельзя... Смерть... Спасение только в работе... Тихонечко, но непрерывно, в течение четырнадцати часов, как говорил Гачев, научно... Работали молча... Говорили только по надобности... О времени не думали, старались забыть... Как великое счастье воспринимали команду об окончании работы... Мечтали добраться до барака.

И вот в эту ночь, когда наш короб был заполнен до отказа, Гачев подошел ко мне почти вплотную:

— Послушай, Миша! — сказал он мне и вдруг стал напевать мелодию. Это был лейтмотив Второго фортепьянного концерта Рахманинова...

Все это настолько не вязалось с обстановкой, что я попросту обалдел... Я взглянул в его глаза, и мне показались в его зрачках безуминки... И этот готов, подумал я... А он, закончив пение, сказал:

— Ты только подумай, Миша, как этот истинно русский гений Рахманинов создал творение с таким глубоким пониманием восточного ладо-тонального строя, а?

— Иди ты к чертовой матери, сволочь! — вырвалось у меня.
— Ты что, ты что? Обалдел совсем? — пробурчал недовольно Гачев. — Ладно тебе... Потянули... «Рахманинов»...

Когда кто-то нечаянно или нарочно упустил в шурф, наполненный водой, очень нужный инструмент, Гачев первый вызвался его достать... Бригада была в простое и могла пострадать не только материально... Он трижды нырял в шурф при 50-градусном морозе... Достал наконец... А когда одевался у костра, лязгая челюстями, сказал:
— Знаешь, Миша, вода не такая уж холодная...

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СЕКРЕТАРИАТА СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР от 2 октября 1959 г.

1. Восстановить посмертно в правах члена Союза писателей СССР Дмитрия Ивановича Гачева.
2. Поручить Литфонду СССР выплатить семье покойного писателя Д. И. Гачева зарплату за два месяца, исходя из установленного среднемесячного лимита 3000 (три тысячи) рублей в месяц.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ БОЛГАРСКОЙ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ

Выписка из Решения № 1027 СЕКРЕТАРИАТА ЦК БКП
от 25 декабря 1981 г.

В связи с 80-летием со дня рождения выдающегося болгарского ученого в области эстетики, музыковедения и литературоведения Дмитра Иванова Гачева:

1. Научному объединению по искусствознанию Болгарской академии наук, Союзу болгарских композиторов, Союзу болгарских писателей, Дружеству эстетиков, искусствоведов и литературоведов и Окружному народному совету г. Пазарджика организовать юбилейное чествование Дмитра Гачева в его родном городе Брацигово.

Печати, радио и телевидению соответствующим образом отразить чествование.

2. Издательству «Наука и искусство» издать избранные произведения Дмитра Гачева в двух томах.

3. Болгарскому телевидению подготовить и показать документальный фильм о жизни и научной деятельности Дмитра Гачева.

4. В городе Брацигово создать музей Дмитра Гачева, а в Брациговском районе назвать его именем подходящее культурное учреждение.

Так совершалось в 50—80-е годы воскрешение Д. И. Гачева. Реабилитировали его по обоим «делам», восстановили в партии и в членах Союза писателей (один день он им всего был). В СССР и в Болгарии прошли вечера, ему посвященные. Переиздана его книга о Дидро. Создан документальный фильм. Изданы его статьи и воспоминания о нем. В частности, инженер Николай Яблин, болгарин, так свои озаглавил:

«Незабываемые встречи. София, Париж, Москва, Колыма». Такими вехами обозначилась траектория жизни Димитра Гачева из Брацигово, прочерченная им заодно с Колесом Истории.

ЖИЗНЕМЫСЛИ

Это не мысли о жизни, Это — мысли из жизни, из ее случаев возникающие и от нее отлетающие, так сказать, в «эмпирии духа». Жизнь тут — служанка мысли.

Но и обратное будет столь же верно: обтесав топорщащийся и мучительный кряж жизненной ситуации топором мысли, я обретаю радостный покой: недаром, значит, страдал, справился с потоком и рыбку смысла извлек. Уразумение — гармонизирует и утоляет. С мыслью — и жизнь становится легче переносить и испытывать. И — светлее: опрозрачиваешь ее мутно-страстную взвесь, из кровавости ее красной — прекрасное возгоняешь. Что ж? И — счастлив.

Жизнемысль — это еще и единоборство: кто кого? Жизнь мысль забьет, ухайдакает? Иль мысль жизнь укротит, положит на обе лопатки — хоть на миг, на всем скаку ее лассо своим заарканит?

Итак: мысль по ходу жизни и как участник в ней.

Мышление — без отрыва от производства жизни.

Ведь каждый миг жизни не только священен своей неповторимостью, но и исполнен гигантского смысла. Но мы — не вдумываемся, не умеем, и не учат нас этому. Так вот здесь — опыты вникания даже в микроситуации быта и буден — и как в них много нам оказывается ума и научения!

— А по жанру это что? — законный вопрос.

— А вот что: в толстом журнале есть рубрики: проза, поэзия, критика, культура, дневник писателя, юмор и проч. Так вот: перемешайте все это — и выйдет мой жанр — борщ... Но ближе всего — к прозе. Это — интеллектуальная художественная проза.

— А отчего такой отдаленный период взял-выбрал из дневников своих?

— Да оттого, что он уже отболел, и можно в нем исповедоваться и к себе тогдашнему отнестись — как к человеку другому.

УЗНАВАНИЕ

Читатель «Литгазеты» Д. Н. Фисенко из Ленинграда в отклике на мою статью «В погоне за жар-птицей мысли» (№ 37 за 1983 г.) писал: «Наблюдается какая-то дистрофия (если не атрофия) творческого воображения, этакая избыточная дисциплинированность поведения в священном (но ведь действующем!) храме культуры. Можно ли считать служителями ее людей, имеющих за плечами лишь (пусть и огромный)

рюкзак эрудиции? Хотелось бы видеть из-под него и самого обладателя (его манеру пользоваться содержимым), а не просто носильщика сего «достояния».

И меня это же всю жизнь мучило: что во фрак и во фрунт — лишь так этикет повелевает в культуру входить. А что если — расстегнуть Культуру? Вовлечь набранное образование — в делание моей жизни, в решение ее повсеминутных загвоздок?.. Низвести, очеловечить сюжеты культуры, вывести их из ученой замкнутости, привить древо познания к древу жизни?..

Что новых мыслей в мире нет: все уже кем-то когда-то высказаны, и что «новое есть хорошо забытое старое», — это общее место, которое все «знают». Тем труднее и важнее работа УЗНАВАНИЯ открытой кем-то или общей истины — в новых и непредвидимых случаях жизни. О, это нелегко! На этом запоролся и умнейший Эдип, разгадавший загадку сфинкса. Он все знал, но — не узнавал. Он знал, что убьет отца и женится на матери, но он не узнал отца в старике на дороге и мать во вдовствующей царице Фив.

Акт узнавания и совершается в жизнемысли. Ее дело сродни «способности суждения» (термин Канта), которая умеет сопрячь единичное со всеобщим, высокое — с низким, узнать «прозу» в обыденном разговоре. Жизнемышление — это не абстрактное, ОТвлеченное, а ПРИвлеченное мышление: к ответственности передо мной, как человеком живущим. При этом одновременно совершаются два дела: «познай самого себя» (Сократов принцип) и «познавай мир».

«Перед употреблением — взбалтывать!»

8.III.67 Беру поносить младенца — и сразу, как только в полувертикальное положение поставил (любит особенно, когда на плечо свое ее головку перекидываю), затихает. Головка сама не держится на шейке — оттого прислоняю к своей щеке, как палку под саженцы подставляют. Ходим, вертит в стороны головку, а я внюхиваюсь в парное тельце — словно только что из лона женского, но уже ангельски просветленное. Время от времени ручками и ножками толкается и вскребывается мне в левую половину груди — будто войти в меня хочет — и входит...

И думал я: отчего это дитя так колыхаться любит — на руках, в люльке, в коляске? А если заплачет, чуть закачаешь — успокаивается? Значит, свойственно ему колебательное движение, а покой на плоскости противоестественен. Ну да: это дитя еще имеет память тела — от бултыханья во чреве матери: та же все ходит, а внутри — в колыбельке колышутся. Так что, может, и когда земля зачиналась, и любое космическое вещество и тело, — оно сгушалось не просто на (в) круговых вихрях и центростремительных движениях (теория Декарта, Канта-Лапласа и проч.), но и в каких-то колыхательных, бултыхательных. «Перед употреблением — взбалтывать!»...

Путь от животного к дереву
10.III.67. 3 ч. Вышел, ошалев от умозрения, из дома. Дети у воды в снегу прорывают русла, воду гонят, запружают. Так же безудержно льнут к огню — играют с водой и огнем.

С остальными стихиями — менее отчетливый союз: с землей? — конечно: в песочек играют, роются. С воздухом? — да: прыгают, бегают.

Но главное завораживающее — вода и огонь. И это — состав Эроса: «огневода». Дети, только оттуда, недаром льнут. Жрецы чистых стихий. Из земного ж — вырывают ямки (чревеса роют, утробы). Из леса — боятся волков.

Я вышел — Диму жду, спрашиваю у девочки, а она:

— Если его в лесу этом не съели волки, тогда придет; а съели — одна сумка останется, и придется вам другого мальчика родить. А у нас в саду совсем-совсем нет волков: туда можно ходить гулять.

Дитя ест — и боится, что его съедят. Сам утроба и только из утробы — боится опять в утробу попасть, в живот с пастью (матрешка в матрешке — утроба в утробе...). Цветаева первым делом интимно ощутила, что Пушкина убили в живот. Собаки-ходячие животы — священны для детей.

Вообще дети любят животных. Растения начинают любить позже.

И, собственно, путь человека: от заинтересованности животным — к интимному сочувствию с растением. Старики-садоводы — тоже в песочек играют, землю роют, как дети, но все — вверх смотрят. А мертвые — трупы («труп» по-болгарски, старославянски — «полено», «дерево»).

Жизнь человека — путь от животного к дереву: когда мал — при-землен, от нее пружинит и отталкивается, катится — самоходный животик. А р а с т е т (недаром это слово от «растения») — тяготеет быть взрослым, по-рослю. А как пошел в рост — так и деревянеть начал: медленнее движения, на одном месте чаще; старик же — так вообще прирастает: словно человек живет-живет, кружит-кружит, но круги все теснее, которыми ходит, уже, словно точку себе выискивает навечно прикрепиться. И прорасти. И так и есть: зарывается, как зерно в борозду, в могилу — на пророст.

Так что же: жизнь, значит, по назначению своему есть возврат вспять — регресс от животного к растению?

Т е л е ф о н - в з л о м щ и к в д о м е

8.IV.67. Фу! за спиной проводят телефон: вон еще зацепка, крючок, на который всякий, кому не лень, может меня в моем заточении поддавливать; пробита дом-крепость моя, и молошье (Молоха!) щупальце подкопом дотянулось. У, пятая колонна, троянский конь! Но я все равно спиной к нему, к городу, к urbi, и лицом — к полю и лесу — к orbī. Я от бабушки ушел, я от дедушки ушел, а от тебя, серый волк, и подавно убегу! И сейчас — отписал его, телефон, — и как с плеч долой: с души, с ума скинул его груз, зависимость от него. И, дух переведа — вздохнув глубоко

ко, т. е. переключив дух свой на другой диапазон и канал, на первую свою программу: на умозрение — пошла писать моя губерния!

А ведь телефон-то и в самом деле, что взломщик — прямо в доме моем. Вору-то, чтоб проникнуть, надо сперва дверь взломать, а этот — уже проник, лазутчик и наводчик вечный! — и через него можно взломать твой покой, ворваться в творческую тишину, расцепить объятие, громыхнуть посреди симфонии...

Избавился от страха

26.V.67. Вот каким соображением я вчера избавился от страха, один в лесу. Когда смеркалось, я все поглядывал в ту сторону, где днем видел дымок — как Робинзон: ожидая с той стороны пришельцев, туземцев. И пусть уж сейчас шли бы, а то лягу и буду в безглазой палатке ждать, что придут, а я запертый в ней, как в готовом гробу: меня видно, а я ничего не вижу, голенький... Топор, укладываясь, в палатку положиж — оружие.

И потом вдруг — соображение: а как пустынный в скиту? Разве боится он пришельца? Напротив: рад приютить и поговорить — как Финн Руслана. Так что и ты так настройся. И топор свой в чехол вложи, ибо в страхе, неровен час — за топор схватишься и, не разобрав, куда, может, в совсем беззлобно к тебе идущего вонзишь. Нет уж — убери. Плохой советчик — страх. А если надо кому, то почему не тебе умирать? Может, тебе и настало... И, так сообразив обстоятельства, я успокоился.

Философия вальса

31.III.68. Вальс вчера танцую, озарился следующим уразумением. Вальс — да это же космический танец! Прodelываем вращения двух родов: вокруг своей оси (с партнером мы — воссоединенный целостный человек, «андрогин» платонов) и по кругу зала — то есть в вальсе мы равны Земле, земному шару, что и вокруг своей оси вращается, и по орбите вокруг Солнца. В этом — упоение вальса: его захватывающее дух кружение — той же природы, что и коловращение Земли; мы ей равны в танце, ей подражаем, ее собой чувствуем. В вальсе мы — само совершенство. Отсюда само- и взаимовосхищение в нем. И недаром в послекоперниканской городской Европе так развился этот танец и перешагнул все границы, давая всем чувство причастия к универсуму: чужать себя не немцами и русскими, а — «землянами» и «солнцарами».

Такт на 3 есть «троица» — совершенное и полное число: ибо лишь тремя точками можно осуществить поворот кругом (окружность лишь через треугольник всегда описуема), тогда как остальные такты: на 2 и 4 — парные, квадратные, прямоугольные — выражают уже машинную цивилизацию: в танго и фокстроте ходят — как шатунно-кривошипный механизм в паровой машине (еще и углами локтей туда-сюда толкают).

Вольные же импровизационные танцы середины XX века: рок-н-ролл, твист, шейк и прочь. — это уже бунт естества против машин-

ной цивилизации. Дробь ногами у испанской танцовщицы и кастаньет-щелчки — это язык птиц.

А у нас в русской пляске своя идет обработка Пространства и вычерчивание своих фигур и орбит там. Хлопанья в ладоши, по голенищам, пяткам, бедрам — это плоскостями (родимыми сторонками) обработка воздуха (как и в бане — духовитым веничком), а не уколами щелчков-шпаг-рапир...

Пуповина и глаза

20.V.70. Ребеночка Настеньку позавчера перевозили из Дубны в Москву. Большая «почемучка» стала.

— Что лисанька ест?

— Курочек, — говорю.

— А глазки у них не съест, глазки останутся?

— Видишь, — сказала Светлана, — дитя не может примириться, что глаза, где душа, — что их съедят.

И думаю сейчас: глаза — нечто антиподное чреву, желудку, матке. Недаром, и по Гиппократу глаза, в числе 9 отверстий, — возникают после вываливания из матки и обрезания пуповины — взамен ее на ориентировку в пространстве: как поводырь в миру.

Глаза — это радость и дар (рад-дар) наружного видения, талант именно внешности и внешнего: иметь нечто вне себя, оттолкнутом, и самому быть вне. А мы (духовные) торопимся потушить глаза, закрыть эти внешние, «низменные», проходы, — чтоб погрузиться и отворить «внутреннее зрение».

Ребенок же, ангелочек, чтит дар наружного зрения, ибо у него как раз — эпифания: взгляд из небесной выси и праздничное удивление малым телесным вещам, предметам, органам — всему диву оформленной материальности, чем мы, средне-жизненные, в нем уже задыхаясь, начинаем пренебрегать.

Дела — плохи, а живу — хорошо!

14.III.71. Встречаясь с человеком, спрашивают: «Как дела?» или How do you do? (англ.) — «Как Вы делаете?» Т. е. не о нем, а о вещах вокруг него. И предполагается: что это одно и то же. Будто человек-наизы и коромысло, подвеска для дел и вещей.

Я ж чую остро разницу. И на вопрос: «Как дела?» — «Дела мои плохи», — должен ответить. А на вопрос: «Как живешь?» — «А живу я хорошо!»

И наоборот бывает: дела у человека идут хорошо, а сам он живет скверно.

Поступки дурацкие, но не дурные

Постой, что же ты мучаешься? Ведь главное ж — душевная реальность. Ты же не сделал сегодня дурных поступков. Сделал дурацкие, непрактичные, все реакции твои были нелепы, ничего у тебя с утра до ве-

чера не выходило путём, — но ведь ничего, что бы нравственно оскорбляло душу. Ну и всё. И будь спокоен.

С чем сострадание?..

21.VI.71. Когда вчера читал дочери «Рикки-тики-тави» Киплинга, задумался: вот мы радуемся, когда этот хореk прокусил шею Серой змейке, а потом очковой кобре Нагу-отцу, и змеенышей перегрыз; но почему не наоборот: Серую змейку нам не пожалеть и деток змеи?.. Тут все дело в том: с кем первично отождествишь свое «я» (здесь вот — с мангустом Рикки...) — и тогда все остальное выходит в наружу, в объект, предмет, в без-«я»-сть и не наделено душой и страданием: в то, что «онно». Предмет, вещь и «он-она-оно» представляются нам как уже неорганическая природа, камень — и нет у нас к этому сострадания, как к тому, что чувствует как «я» и «ты», как «мы» и «наше».

Но так и в более глобальных ценностях (в истории, в политике, в культуре) — такой же акт первичного («априорного») выбора: во что, в какую теорию положить свое «я», какое бытие предположить как «я»-бытие, субъективным. Тогда все прочее — это «они»-бытие, «предмет», «оно» — и его можно бить и уничтожать, как врага, ибо это, как некая «без-я-сть», уже по идее и сути мыслится нами как бесчувственное небытие — ну, туда ему и дорога!..

Арбат, аборт...

27.VIII.71. Забеременела вроде Св. И решили оставлять. Почему? Противно растить одного ребенка, осуществлять нынешний жанр однодетной эгоистической недо-семьи. Семья должна быть мир и корабль: и там должен быть детский космос, а не обрубок, глядящий наружу, в социум. Тогда заживем по существу, своим миром и мерой. Надо заполнить трюм корабля семьи: чтобы не трепыхался, как плоскодонка, по воле волн и ветров, а имела бы жизнь глубокую осадку и самость. Осуществить патриархальный, старомодный жанр жизни по существу, а не по влиянию и течению.

...А дом наш — изба — совершенно выглядит, как корабль в просторах. Особенно ночью, когда в окно — ни огня, и лишь наши огни светятся в зелено-черном безбрежье. И вот мы плывем. И такая нежность вдруг к своим: вот жена, спутница, согоревальница, отважилась разделить со мной дальнее плавание, и сейчас здесь, в тиши и глуши, а могла бы ходить по Новому Арбату и смотреть фестивальные фильмы.

Арбат, аборт. А между ними — шорты.

Так вот: не ходит жена по Арбату, не делает аборта, а сосудик свой в платишко ситцевое облекает — и плывет, плывет со мной, избыные хлопоты разделяя...

Съедаем каблук

27.X.72. Как есть храм Спаса на крови в Ленинграде, так и мой «Декарт» (зимой 1972/73 г. то в городе, то в избе в деревне я писал роман мышления «Зимой с Декартом», откуда эти жизненные мысли — 7.III.83) будет на

жертве жены замешен: перенимая на себя труд, посылает меня с утра в библиотеку.

Чую сходство с Декартом в сознательном настрое своей жизни: он изолировался от жизни с тем, чтобы беспрепятственно работать в духе. Я — тоже сознательно — не отстраняюсь от жизни, но включаю ее в линию своего духа как мыслеобразующий фактор.

— Сегодня мы съедаем каблук от маминых сапог, — говорю Насте.

— Как так?

— Дедушка подарил маме ко дню рождения 70 р. на зимние сапоги. Вот мы их и съедаем этот месяц: сначала голенища долго ели, потом подошву, а сегодня в расход пошла последняя пятерка — каблук от сапога.

М у ж ч и н а и ж е н щ и н а

30.I.73. Яд мне оживила в душе к жене вчера бабка в деревне. Ходил я к ней за молоком, она меня расспрашивать: сколько детей? Кто смотрит-нянчит? Когда сказал, что я тоже все делаю по дому, она: «Ну ясно: бабья власть!». Я заинтересовался, что значит.

— Ну как же не бабья власть? — говорит. — Чуть что, они на развод. Мужу ни в чем веры нет, его не слушают. У меня сын, 18 лет их дочке, а баба от него уходит. И такое на него написала: что и пьян, и еще незнамо что! Подруги ее понаписали. Такую волю себе взяли. Мы как жили? Мужик и побьет когда — стерпишь, и все. А тут... За сына боюсь. Как бы по пьянке да от тоски...

— Мужик тоже хлипкок стал, — говорю. — Оттого и баба верх взяла. Кто же первый начал: мужик слабость или баба власть забирать?

— Бабе все устроено в угоду. А они все болеют... Не рожают: вырезают себе железом — оттого и болеют. А то еще уткнутся весь вечер в телевизор смотреть. У нас, бывало, как вечер — все бабы на улицу, песни петь, краснощечки, здоровые.

— Но сейчас ведь и женщина работает, в дом деньги несет. Делает мужскую работу — вот и мужу приходится женскую делать. Вот я все время пеленки стираю.

— Пеленки стираешь? Нешто у ней нет время? Она же сейчас не работает, твоя-то. Вон и у нас бабы: «Вишь, мой мужик какой хороший — пошел на речку полоскать!» А я ей: «Не мужик хороший, а ты — дурная».

И вспечалился я о «добром старом времени» и мужчине — мужике и рыцаре... Но ведь то — социально-патриархальный мужик. А метафизический — как монах или мудрец — сам все должен делать, быть целостен и не стыдиться быть бабой, делать женскую работу...

Вон и у меня тут же жанровый эпизод произошел: взошла жена (в нарушение порядка дома и утра моего), прервала и стала говорить, что был врач-ларинголог из нашей поликлиники и что в ушке ничего нет, зачем же звать еще платного ушника из «Семашки», как мать моя советует? Я стал анализировать, отчего у младенца температура вспыхивала

и как было в последний раз, когда она вынесла под окно в мою комнату и открыла щель, откуда сухой морозный воздух...

Она взбеленилась, ногой пнула мой столик, опрокинула книги и стеклянную раму, на которой я пишу. Я стал собирать. И тогда вместо соблазна, который у меня мелькнул: дать ей пинка иль какое еще рукоприкладство (а я ей поклялся, что более руку не подыму), — я взял эту картину под стеклянной рамой, понес к ней в комнату и на ее глазах хлопнул вдребезги о ее пол: собирай, мол... Какой прекрасный заместитель — эти символические акты разбирования — «убийства»! Высвобождают нас от зуда совершать реальные злодейские поступки. И вот уже мне легко на душе и весело и свободно — никакой злобы на нее не чувствую: мгновенно от черни освободился, а если б ничего освобождающего не предпринял, клокотал бы, и сколько желчи стало б скапливаться, отравляя нуто!

Вот — помахали в мире майи... членами призрачными (руками, ногами) и предметами. Но рад остроумию своей казни: вон — до сих пор ходит, подметает, собирает осколки. И не ударил: греха не взял, за что бы ей мне душу зацепить.

Улыбаясь, продолжаю передумывать Декарта.

(Неприятен я себе в этой сцене: особенно самодовольство тут мерзко... Но нечестно будет править дневник тех лет. Так что:

И с отвращением читая жизнь мою,
Я трепещу и проклинаю,
И горько жалуюсь, и горько слезы лью,
Но строк печальных не смываю.

Так Пушкин учит («Воспоминание») — 14.5.86.)

У м и л е н и е

3.30 (того же дня). По радио «Орфей» Глюка. Мелодия, что мой отец на флейте играл. Я один с младенцем. Спит. Св. ушла лекцию читать. Плачет Орфей, потеряв Эвридику. И я — в слезы: умиляюсь, что есть жена, Светлана... Что, если б унесла ее Смерть? И пнула она меня ведь, любя младенца, из боли: легко ли ей — месяц сплошной одной возле больной?

И бабка в деревне о беде сына рассказывала: «По пьянке ведь она. Один раз всего в жизни. Но — с другим. Простил бы он ее. Она у него прощения просила, в ногах валялась. Но он — нет. А если б простил, может, и в ладу бы дальше жили». Такой у нас был разговор. И думаю о жестокосердии мужском, что и во мне. Так и запел бы вместе с Орфеем: «О, жестоковыйный! О, жестоковыйный!..»

Как мягчеешь сердцем, взясь с младенцем!.. Да, мужчине современному надо не вздыхать о прежнем патриархате и стиле жизни и типе мужчины и женщины; не восстановить это — и не надо. А надо помягчить, одушевориться, вместиить женское в себе, стать более округлым — полным-целым, а не сухой абстракцией мужества (долга) и духа, чем он стал в итоге патриархальной цивилизации: унизил материю — материнско-женское.

Вот сейчас чаек в бутылочку с соской заделываю, чтоб, когда про-
снется, попить дать.

...По радио теперь — «Лесной царь» Гете — Шуберта. Отец убивает сына — этот комплекс, а не Эдипов (сын убивает отца и женится на матери — 14.V.86.) — в германстве и далее на Восток. У Шиллера: король Филипп и несбывшийся заговор Дона Карлоса и Позы, молодых. Да и у Вагнера — гибнут молодые: Зигфрид, Брунгильда, а Вутан-старик и Нибелунги — остаются...

(Позднее я обозначил это явление как **Рустамов комплекс**. Он характерен для Востока. Рустам в поединке убивает сына своего Сохраба. Илья Муромец — Сокольника, Иван Грозный и Петр — сынов своих, Тарас Бульба — Андрия и т. д. — 14.V.86.)

Что есть страдание?

8.II.73. Вот на ребенке в чистом виде — что есть страдание?

Игрался младенец на диване. Я сидел с краешку — собой барьер представлял и решал примеры из исчисления господина Декарта. В это время вошла мама, поиграла, потискала — и ушла. И начались слезы — такие страдания!

Откуда видно, что страдание есть лишь лишение наслаждения, а своей субстанции у него нет: оно не есть нечто положительное — так же, как, по рассуждению Августина, у Зла нет субстанции, а оно есть лишь умаление Добра, отсутствие некоего Блага.

16.II.73. О, вурдалак и!.. Так вообще можно отвращение получить к философским разговорам, да и вообще к мышлению! Три вечера подряд беседую. Вот не было ни гроша, да вдруг — алтын. Жил себе в семье уединенно, или в избе в деревне, без общений умных и бесед — и вдруг навалилось!..

Да, философия — это антижизнь. И творилась-то она людьми бессемейными: без жены, без детей, или совсем где-то это для них побоку, а вместо жены и Жизни любят Софию: она им жена, любовники они Софии (-фило-софия). Ну да: Сократ — с женой сварливой Ксантиппой¹ и с детьми незначачими; Аристотель — с гетерой Филлидой, что на нем, по средневековым изображениям, верхом ездила (тоже нелеп союз с женой-жизнью у него). А далее Декарт, Спиноза, Кант, Кьеркегор, Ницше... — все уроды, без жен. Один Гегель... Да и у французов: любовь была (Вольтер, Дидро, Руссо), а положительной семьи с детьми и не было... А все учат человечество счастью: как устроить жизнь. А откуда им вполне знать, что потребно человеку?

...И вот думаю: чтобы человек любил другого, он должен вообще узнать-испытать, что такое любовь. А где ее вырастишь, как не в семье? Ведь и помидоры, и капусту не сажают прямо в открытый грунт, а выра-

¹ Может, Ксантиппа и хорошая баба-жена была. Но так как в принципе София — Мудрость — Истина ревнива и прибирает своего целиком к себе, то и ославлена оказалась земная жена первого философа — как язва — в веках. 11.V.75.

щивают сначала в виде рассады — дома, в теплице, в оранжерее, в парнике. Семья и есть то гнездышко, тот горшочек — микрообщество, где все социальные свойства в человеке-ребенке прививаются, возвращаются — в благой атмосфере любви, так что потом ему, войдя в открытое общество, есть чем любить иного: есть в нем этот очажок, теплота. ...И как же после всей этой рассуждательной схоластики божественно прийти к младенцу, пощebetать с ним, обнять, поиграть, очиститься, жизнь восславить, жену-мать обнять! Какие благодати! Какие дары бытия! Что они — есть! — невообразимость...

21. II. 73. Да: «с т е р п и т с я — с л ю б и т с я». Вот не вожусь несколько дней с ребенком (старушка няня у нас появилась), не въедаюсь так во все мелочи — и любовь слабее. Терпение есть подспорье для любви, медитация над предметом чувства, вхождение в его извивы и закрома. А войти туда можно — лишь душу вложив. А раз вложил — значит, уже душа твоя там — вот тебе и любовь как следствие и функция терпения.

Поверхностно понимаемое «стерпится-слюбится» трактуется как принуждение, насилие над живым чувством (исходной нелюбви — так предполагается), покорство и утомление — и в результате возникает некий эрзац чувства. Но глубоко если понимать эту мудрость народную, терпение есть путь возжизниа любви, воспламенения живого чувства трением, трудом любовным: терпение — приложение — припаение — срастание — сплавление и взаимопроникновение. Все они требуют неподвижности: не рыпаться и не отрываться, не дергаться назад, если вначале несколько неприятно.

Озерцо любви

17. III. 73. Какое это озерцо любви — младенец! Вот я бреюсь, одеваюсь, а он елозит в стульчике, весь обращен ко мне, ручки тянет, глаза совсем раскрыты, впивает, отдается. Так и чувствую, как переливается, истекает мой образ в него и впечатлевается: уж там-то я буду жить, умерши: в его памяти, врезавшись глубоко, коренным впечатлением, как базальт души дочерней. Даже слеза прошибла веки тяжелые и искривила рот: представил, как она, выросши (а я уж — умерши), будет читать эту страничку — и тоже трепетать любовною душой...

По телу, по материи — ребенок маленький. Но душа жива ведь тут полная и совершенная: ее не более будет во взрослом состоянии. Напротив, пропорция души на массу тела у младенца больше, чем у взрослого, — и потому мы в нем еще ангельское бытие и плоть чуем. Кстати, и Декарт иронизировал: отрезали ногу — меньше души, что ли, в человеке стало?..

Телевизор

7. XII. 75. Купили порося — хлопочем вокруг телевизора. Назойливое существо: изображение движется и водит твоим зрением, тогда как, на картину глядя, я волен двигать свое зрение или останавливать. Этот же

захватывает и ревниво требует следить за своей судьбой, как лошадь, что бредет, а не стоит. Тут плен движением. И так психея у человека XX века возбуждена излишним движением — так еще его же созерцать во время, положенное на тишину, покой и восстановление!..

Семь вечера. Вхожу: уж сатанинский рев в доме. Дети очалелые лежат, бледные, глазают. Самое пекло адово поместили в центре дома, как очаг.

8.XII.75. Телевизор, в нашем доме возникший, промыслить надо. Вчера уж имел от него и укрощающее воздействие. Зашел к жене в комнату, очередно лютый на нее из-за какой-то домашней мелочи. Вдруг вижу экран: там дирижер, лица скрипачей. Сложной и тонкой работой люди сосредоточенно заняты. А я тут такой безобразный лезу... И осекся я, охладел: окно в мир распахнулось...

Да, телевизором не мы только в мир смотрим, но и мир в нас, в наш дом заглядывает: умеряет, при-мир-яет. Масштаб иной вносит — вселенности — в наше домашнее бытие. Разбит дом-крепость: телевизор — брешь в стене его... Око мира внесено недремное. Совесть не совесть, а нечто вроде нее... Нас стало просвечивать, просквоживать...

Константа и функция

19.IV.76. Всякий хочет, чтоб другой другим стал: перевоспитался, усовершенствовался. А на то, чтоб ты стал другим, а другой пусть останется тем же. При такой максиме всем будет хорошо. Это и по Канту — такой человеку долг: собственное совершенство — и счастье другого...

Это я соображаю, думая о жене и дочерях: то в них кажется не так, и это, и хочется, чтоб в сем и другом переделались. А ты прими-любви их таковыми, как есть: особыми существами с такими вот чертами лица, ушами, копытами, привычками, реакциями; не переделывать же лису в лося — каждый в своем роде хорош. То есть положи их уже совершенствами и не желай от них перемен. А вот себя сочти несовершенным и заблуждающимся в своих суждениях о других, о них, стань смиреннее к ним, но жесточе к себе: и воздeldвай, и совершенствуй. Тебе же легче самого себя познать, чем их... Вот и математическое пояснение на ум пришло: их положи константою, иль первую, независимой переменной, «аргументом», а себя — «функцией».

Месяц с детками в качестве мамы

17.10.79.— Что самое дорогое? — с Настей говорю. — **Любовь и свобода.**

— Почему свобода? — спрашивает она. Ей еще неведома сладость свободы.

— А как же! Делать, что хочешь, любить, кого хочешь... Но ради любви — и свободой жертвуем, как мы вот, поженясь с мамой.

Итак, свобода-хотение. Если не хочешь ничего, то и свободы не надо, не вопрос она.

А когда есть любовь — свободы и не надо. Свобода — это за неимением любви.

Любовь — бытие, позитивное. Свобода — пустота: ибо лучше ничто, чем не то. Не надо никакого заполнения; чем не того. Уж лучше под паром, в нетости побыть — и быть готовым принять то, что надо, что хочешь.

«Надо» и «хочешь». Вопрос?..

— А того и хочу, что истинно надо.

Только как распознать его? А пока не знаю его — пусть лучше ничто и свобода.

А любовь-хотение ли?

Нет: она — сверххотение: находит без выбора, как необходимость. Хотение — ниже: оно — на уровне свободы, ее субстанция. Любовь — это когда меня хотят, когда я нужен, необходим, — как вон деточкам сладеньким, маленьким.

18.X.79. Был у меня императив долгие годы: не лгать и по мелочам. А вот вчера в разговоре с П. почувствовал, что надо бы прилгнуть человеку, чтоб уважить его: каким железным холодом рационализма обдал бы я его, жестко и честно сказав, что я его книгу, что он мне подарил и на которую ухлопал годы труда и силы свои, — не прочитал совсем?.. Как бы сник человек! И не в том только дело, что, обиженный, не стал бы мне помогать (хотя этот мотив, конечно, тоже был на заднем плане моем), но что дружески-человеческий уровень общения должен был бы подчиниться уровню рации-логическому: его шкалу ценностей — «правда-ложь» — поставить превыше ценностей ряда эмоционального — «забота, услуга, ласка, дружба, любовь...»

А по какому такому праву взял рассудок эту прерогативу — быть в ценностях наших превыше доброго чувства?

Уж в общении с детьми постоянно на эту грань выходил, когда им требовалось солгать, душа их этого хотела, а я злился на это, ибо мой принцип: «не лгать!» — нарушался, и покушались на мою честность и самоуважение, и я — из правды! — лютовал... на них: что вынуждают...

Так Лариска, когда мама уезжала в Малеевку, слезно исторгала из меня обещание давать ей каждый день по два яичка, — что вредно и не согласно с моим понятием и чего я не буду делать, — а Св. велела мне пообещать, хотя знала, что нечестно это и вредно. Но она также женски-материнским умом своим знала, что ребенку важнее утешение сего мига, что эти слова-обещания ему лишь символ ласки и считанья взрослых с ним, что она и не будет фактически есть этих двух яиц, — что и случилось... Но надо было уступить — по императиву душевности и сочувствия: чтоб «правда-ложь» потеснилась перед «доброта-злоба». Ибо чего ж хорошего: правду я со злобой втыкать в человека буду и хрупкость его рушить — колющим этим инструментом, воистину холодным Оружием?

И вот ныне: читая критику разума и науки с точки зрения философии жизни и экзистенциализма; — удостоверяюсь в более высокой правомочности Чувства перед Рассудком, Любви перед Истиной...

Так что отныне снимаю с себя этот неловкий в общежитии императив: говорить только правду.

«Ах, обмануть меня не трудно: я сам обманываться рад...»

Ради души человека легко и соврать: ничего не стоит, чтоб утешение принести... Бедные мы!..

А ласка! Как деточкам нужна она! Как за нею — Лара мне на колени головкой прилегла за ужином, в комочек свернувшись. А Настя мычит и трется, чтоб я ее — понежил... А я, дурак, сух и честен: что мне неохота ласкать — скажу?.. И вот — оттаял, понял, занежил их — за маму...

Ласка — что есть? Подзарядка души — в холодном мире: теплом любви.

...И как правильно все у нас с деточками получается! Вон вчера перевод из «Студенческого меридиана» за «Сестру мою, Софию!..» получил на 136 руб. — и тут же девочкам радостно сообщил, и они: «О, мы богатые теперь!» А считается, что скрывать должно денежные вопросы от детей — о бедности и богатстве. А нашим все открыто: когда мы бедны и нет у нас, когда есть — и так все чисто и дружно! Если денежку найдут, валяется в доме, — не прибирают себе, заводя копилки иль на случай какой, а кричат: Ма! Па! Возьми! — ибо знают, что и при бедности нашей, что ни попросят: на тетрадки, мороженое и проч. — всегда им открыто и дается да и еще всучивается...

Дружата! Вчера записал беседу с Настей о любви и свободе и когда она подошла ко мне на ночь — показал ей. Она удивленно-радостно прочитала, рассмеялась: «Мыслишь, папа!», поцеловала и пошла спать. А разве не радостно ей чувствовать, что уже в работе моей участвует — как собеседник в мышлении? То же и Лариска: вчера разбирали за ужином Гамлетовы парадоксы: как это король может спутешествовать по кишкам нищего иль Александром Македонским — бочку заклеивать. И басенки читаем, Эзоповы...

Жизнь умильная! И как же тут ставить императив правды выше императива ласки и нежности? Правда — честность, честь. Категория не бытийственная, а социальная, из «кесаревой» шкалы ценностей и из схем рассудка, частичных всегда: ведь убеждался же я не раз, как то, что мнилось правдой, стало ложью и ошибкой. И так же точно, как **честь ниже совести**, так и правда ниже любви.

19.X.79. Поражаюсь консерватизму своему, нашему: трудно что-либо новое делать, ввести в обиход. Даже упражнение новое в зарядку — и толенится душа ввести. Никак не могу приступить к заклеюке паркетин и много чего: даже к считыванию уже перепечатанных работ своих.

Новому — некуда вдвинуться в жизни твоей.

А каково социуму?.. Ведь ему еще труднее перестроиться (тебя, например, с новизной твоей, в культуру впустить, — на что ты сетуешь), нежели тебе, в частном быту и в малой семье твоей, с инерцией гораздо меньшей...

Даже девочки уже инерцию набирают привычек: к еде определенной — и не вдвинешь ничего нового...

Утром деткам, вернувшись с зарядки:

— Кто счастливый человек?

— Ты,— Настя сказала.

— Правда: свое дело, свобода, природа, любовь...

...Но начал-то я засест сегодняшний с того, что прочел письмо Св. и от слов ее первых: «В расставании, даже таком небольшом, есть грусть предвосхищения Последней Разлуки» — как представил — и мороз по коже, и спазм слез...

Вот что может слово дивное, из души глубин, соделать!..

23.X.79. Вчера наконец произвел перестановку: поставил проигрыватель, что у меня без дела лежал-пылился, в среднюю комнату, к пианино — и стала музыка звучать на всю квартиру, какое ликование детям! Лариска первым делом поставила вальсы Шопена — пластинку, что она сама купила-выбрала. И дома ей захотелось бывать, а то бежала все к подружкам — от скуки холодной дома без мамы. А теперь — слушаем вместе.

Да, словно сердце заработало в доме — в сердцевине его музыка зазвучала. Замена мамы, которая — живое сердце. Я-то не смогу никак сердцем стать.

— И красиво стало! — Настя сказала. — И дедушкин портрет теперь на месте хорошо, возле музыки.

Потом с Лариской сочиняли песенку на стихи, что ей преподавательница задала. Сначала Лариса стала прямо пальцами на фортепиано подбирать в лад со стихом говоримым — и такие ходы напела искусственные, что ей ни в жизнь не спеть. Тогда я ей сказал: «Оторвись от пианино. Читай с выражением своим».

Прочитала. Сразу волны интонации проступили — и я ей предложил запомнить их и превратить в пение: у нее не вышло. Тогда я сам после ее прочтения пропел, эти же ее волны интонации реализуя, она заравдовалась: «Именно так!» И тогда подобрали на фортепиано и записали. Хороший урок сочинения музыки получился: мелодия открылась ей как просто усиление интонации речи, на этой основе. Хотя тут же, разумеется, уже свои ограничения вступили: контекст тональности заработал и тому подобное.

24.X.73. Лариска, первоклашка моя, заболела вчера вечером. «Головка болит! — жаловалась. — Когда мама придет? Почему мамочка сегодня не придет? Маму хочу!» — плакала, кушать не хотела. Но потом я ее унежил, на колени посадил к себе, чаю с медом дал, а творог после съела, басенку ей почитал — и отвлеклась. Потом: «Я уста-а-ла», — как она нараспев говорит: недаром ее еще в младенчестве старшая сестрица, Настя, прозвала «Припевной». Уложил ее.

Лариска просто надорвалась — в отдалеке сил своих. И в школе старается: любознание к образованию, еще и музыка. И «продленка», и подружек школьных в дом водит.

И еще одна причина: ждала она, что мамочка придет как раз сегодня, — и организм в предчувствии притока ласки материнской позволил

себе расслабиться, перестать быть начеку, собранным, каков человек, когда не на кого надеяться, кроме как на себя. Ожидался приход среды благоприятной, приход сил извне, а не от самообслуги организма. И раскрылся он не вовремя наружу, а наружу-то благоприятная не пришла — вот и просквозило холодом. Ну да: существо сделало ставку на любовь к себе извне, на то, чтобы стать любимым. На приток, а не расход Любви... (А «зло» — это часть универсальной любви).

Однако не только человек жаждет Любви. Наука, как говорится, «требуется себе всей жизни». И искусство «требуется жертв». И идеал всякий, и цель, и профессия...

И вот все это зазывающее многоголосие обрушивается на ребенка, выходящего из семьи в большую жизнь, «в люди», «в университеты». «Меня возьми!» — кричит каждая из частиц на ярмарке цивилизации. Ну, а как тут быть нам, взрослым, в воспитании детей своих и чужих: как быть с «темными», как говорят, сторонами всяких благих дел и идей — раскрывать ли их детям или нет, и в какой мере? Ведь надо и то учесть, что неизбежно столкнутся в какой-то момент дети наши с тем, что не все так красиво и хорошо, как им поначалу все представляется. Как быть в преддверии этого неотвратимого разочарования — их собственного?

Ведь всем известно, к каким срывам и неврозам приводит юную душу открытие, что отец или учитель, или властитель не так уж благ и чист...

Но в этом и положительное есть: взрыв нравственного чувства! Громадный может получиться импульс к поискам истинной правды и блага. И сколько социальных реформаторов и художников-писателей началось именно в акте этого первичного мощного разочарования в верованиях своих детских! Сердце тогда — как оголенный провод: током молнии их тут ударяет — и, конечно, или укрепятся, или погибнут совсем...

Ну, а если постепенно подготавливать к встрече со злом? Ведь ничего нет оскорбительного для каждой части и идеи — признаться, что они такие и есть: частичные, а не безусловные. Напротив, в признании таком каждая часть и обнаружит свой ум, а не безумие, о котором — древняя половица: «Кого Юпитер хочет погубить, того лишает разума».

Это бывает трудно, но я часто каюсь и прошу прощения у детей своих, когда несправедливо насержусь на что-либо, не разобравшись с ходом во всех причинах и условиях. Говорят: авторитет тем подмачиваешь!.. Да, авторитет внешний тем расстраивается, но зато возрастает авторитет нравственный и ума: пример я им даю раскаяния и работы над собой. Тогда дети начинают жалеть тебя: что и ты слабый и малый, как и они, и совсем не абсолютно мудрый, — и от этого уподобления любовь их нарастает — уже как сострадание, симпатия, сердечность, а не просто восхищение и обожание, как к домашнему «богу». Так и нам надо постепенно на человеческий уровень с неприкасаемого приводить все ценности, идеи и дела.

«Па-ап!» — слышу из соседней комнаты. Проснулся Байюшек мой. Бегу. — «Я спала, да? Два или три часа проспала, да?» — «Да! Это хорошо: сон — главное лечение. И знаешь, я тебе еще расскажу, почему ты заболела». — «Почему?» — «Ты ведь два месяца эти как расходывалась! Как колодец, из которого черпали, черпали воду, а насытаться не давали — вот он и усох. Это не болезнь, а отдыха у тебя взмолил организм твой. Вот и полежи в тишине. А то ты все на людях была, и это тоже нехорошо: нужно человеку уединение, в тишине побыть, разобраться в себе... А ты...»

Тут Лариса как раз мне и подала урок насчет вопроса о подготовке к встрече со злом. «Па! Хочешь я тебе прочитаю?» — и читает рассказ из «Азбуки» Толстого: как маленькая мышка рассказывала старой мыши, каких она зверей видела на дворе. Один — страшный, высокий, кричит, с гребешком; а другой — ласковый, лежит, нежится. «Да это же Кошка! Главный враг наш, а тот — безобидный нам Петух!» — разъяснила ей старая мышь.

Так что есть уже в детях, из сказок заложена схема: предполагать за ласковостью возможную каверзу; и Лиса из сказок такова, и Ведьма, и Мачеха... Но это еще не то: тут — абсолютное зло под формой-видом абсолютного добра: любовьность кажущаяся. А надо именно к относительности подготовить: тогда смягчится, понизится уровень притязаний-претензий — и не будет таких разочарований-падений, снисходительнее станет человек и к идеалам, и к людям, — как он к себе ведь снисходителен и прощающ...

Но при этом тоже потеря — недостаток воспарения к идеалу, ожидание Абсолюта снижается рано. Будничность и прозаичность жизни раньше видеться начинают... Жаль...

Устроился в коридоре: между детской, кухней и дверью входной — все слуховые точки занял, чтоб, если постучат в дверь, или Лариса позовет, или позвонят, я был доступен. Лариса удивилась: «Ты зачем тут устроился печатать?» — но когда я объяснил, согласилась, что правильно. 25.X.79. Настя тоже переутомлена: поболеть-отдохнуть ей тоже завидно. И подумаю я: надо бы сделать детям родительские каникулы (на ответственность родителей): посреди недели пусть один день не ходят в школу — в тишине, в уединении, в колодце внутреннего сосредоточения, дома под крылом родительским или в одиночестве проведут. Уроки узнают и сделают. Не проблема для них, старательниц. Только не ходить в классы — в шум и гам этот нервический коллектива... И тогда оставшиеся полнедели с удовольствием, а не на издыхании, проведут в школе. Когда болеют, ведь неделями тогда пропускают — и догоняют, не страшно. Зато снимается страх и гипноз, и ужас пропуска, и давление службы...

27.10.79. Как благотельно лечится ребенок тишиной!..

Тишина — это Благо... Когда утишишь себя — тогда оно может вступить в тебя, почувствоваться. А иначе ты — замусорен, нутро твое перелопаченное — как перелопаченное: в лопастях лопающих пастей — желаний разных.

Это Лара сразу оценила и, когда мама звонила из Малеевки, доложила ей: «Гоша — очень хороший...»

А почему внимателен я стал? Потому что — озеро я стал, не река. Как озеро, не имею своего движения и могу озираться-внимать окрест-наружу: озеро — озирать чтобы, а река-поток — чтобы самому течь — действовать-хотеть-стремиться в мире к целям каким-то внешним. Вот почему деды и бабы так внимательны к внукам: остановились уже в своем движении, пребывают в тишине, не глушит их свой шум, а журчание ручейка начинающегося в состоянии расслышать, разобрать его язык-зов-лепет. А молодые, взрослые, полные сил — сами суть реки бурные и невнимательны к детям, заглушены собою, горизонтально... А озеро? В нем небо оглядывается-охорашивается, купается...

Лара заканчивала снеговика и заопасалась: не сломают ли, когда мы домой уйдем? И стала еще шляпу делать — с кленовым листом, как с пером: совсем красиво будет. Тогда я ей: «Может, не надо шляпу эту делать: больно заметен станет, внимание к себе привлечет, и разрушат тогда?..» Но она все равно не смогла отказать себе в художнической радости доделать произведение свое до вызывающего совершенства: ибо совершенство и превосходство — всегда вызывают, дразнят, навлекают на себя «вихри враждебные»...

Тут закон некий: влечения и навлечения...

Красота — провоцирующая. Так это пока, в мире нынешнем. Когда же дорастет человечество до отношения к Красоте — как к ребенку: нежно-трогательно-заботливого, — тогда и спасен мир будет: «Мир спасет Красота!» — Достоевский сказал. Просто она, отношение к ней будет проявлением — показателем спасенности или проклятости мира сего. 31.10.79. Вчера Гуля позвонила, Светлану ища. Говорит:

— Какой ты идеальный муж! Другие отзывают жену с отдыха, а ты сам ее просишь продлить...

— Ну, «идеальный муж» — это звучит иронически...

— Нет, без всякой иронии.

— А что? Я же о своем удовольствии тоже пекусь: пока я один — вся любовь девочек на меня изливается, в любви их купаюсь. А придет мама — все на нее перельется...

— Но ведь заботиться нужно, время тратить на детей-то...

— Так это ж время Любви!

А ведь невдомек многим, что такая радость есть, а тяготятся домашним с детьми времяпрепровождением.

Удивительно невидение массой людей истинного блага, возле тебя лежащего: руку протяни — и возьми.

Тамадизм и слово русского застолья

25.11.80. Упит, ует я. Вчера в грузинском гостеприимстве купались мы с дочерью — второй уж вечер. Слава богу, первые два дня по приезде я никому не объявлялся: освоились, акклиматизировались в новом космосе, привели себя в некоторый строй с ним и созвучие.

Что же там совершается за пиршественным столом?

Во-первых, на столе распластана Грузия сама: ее дары, жертвенник. Так что стол — не нейтральное пространство еды, насыщения, но алтарь, лицо и тело Грузии, ее плоть и кровь, плоды земли и вино. Евхаристия тут совершается: к национальной субстанции причащение, семейно-дружески-народная литургия.

Во-вторых, над этим полем-поприщем состязания воздымается Слово: речи, тосты. Тамада — первосвященник застолья. Речи — «цискари» — «дверь в небо» Грузии, в ее дух и Логос. И через слова сверху прекрасные, через плоть яств и кровь вин снизу, чрез Космос и его агенты, цель — стяжать Психею, душу гостя: его во други обратить... И когда расходились мы во втором часу ночи, похоже, что все довольны были: взаимознание состоялось и стяжание дружества.

Человек-гость играет роль одновременно и агнца жертвенного, и бога. Земной бог — и каждый поочередно в этой роли выступает. О дурных качествах умалчивают. Человеку преподносится возможный идеал его самого, как бы платоновская идея тебя в наилучшем твоём виде, икона тебя. И получив такое в речах, в застолье, человек и в будни как-то будет подтягиваться, стараться соответствовать этому идеалу.

Русское застолье имеет совершенно иной вектор. Когда собираемся мы, если мало (чем меньше — тем лучше для Слова), — так начинается тяга к покаянию, биение себя в грудь, к исповеданию. Если грузинское застолье — это «аллилуйя!» — «хвалите господа!», то русское — это «Господи, помилуй!», печалование, покаяние, биение себя в грудь со слезами. Но тут возникает вопрос: что лучше воспитывает человека? Говорить ли ему, что он хороший, как говорит Грузия, или говорить себе, что я плохой, а другой бы меня утешал и говорил бы: «Ну, не совсем уж ты такой плохой, Гоша, ты еще не знаешь, какой я мерзавец бываю!» — и так мы взаимно поочистимся?..

Голубая книга Духа

14. VII. 80. Орлиный клетот в горле! — это я в походе по Кавказу проговариваю имена вершин и перевалов: Джантуган, Кюркютлюкол-баши, Уллу-тау-чана, Джаловчат! Сочини-ка ты, нынешний ум, такое! А что может взамен предложить современный Логос? «Высота 4213»? или «Пик Николаева»? А как у нас расправляются с древними поэтическими смыслами, переименовывая с легкостью! Топонимика — это тоже наша среда обитания. Словосфера, питающая ум и душу, мысль и сердце. Переименовки же — это разрушения в сфере Слова, кража в памяти народной, грабеж со взломом в Логосе! Как догадалось человечество завести Красную книгу Природы, куда вымирающие виды заносят, — так должно и нам завести, пока не поздно, Голубую книгу Духа, куда странные слова, мысли, идеи, теории заносить бы — на сохранение хотя бы; а то разрушим — и не сможем припомнить и понять их сказ, когда понадобятся снова...

Черный Китеж

7. XII. 82. Мать жаловалась вчера по телефону: рассказывала подробно, как шла в темноте и по гололеду в магазин, потом в аптеку, а там, за домом, — арка, и в ней — Ветер! И как шла — не по тротуару, где лед и скользко и смертельная опасность упасть и не встать, но сбоку, по заснеженной траве — так сообразила!..

И вдруг взвиделось мне: лес темный и дремучий и колючий нарастает к старости у человека на ровном, для молодых и здоровых, месте! Как невидимый град Китеж, только — с обратным знаком...

Нам-то все — побоку, и не видно: все эти наросты и заросли, чащобы; а им тут надолбы, и валежник, и трясины — такая местность на (повторяю) ровном для нас месте разверзается — и внешним, физическим даже очам, не только психическому ужасу и ожиданию конца своего в каждый миг — и от чего? Не от этого ли шага — по скользящей наледь?..

Да! Так космос променен и преображен — по человеку, и по силе, и по душе его, и по ситуации жизненно-временной...

Я — Василий при Василисах

19.1.85. Прокаженный я сегодня в доме — как Василий при Василисе (в повести Распутина). Постучался к старшей дочери: предложить вместе на лыжах пойти. «Ну, что тебе еще?» — презрительно-брезгливый голос, и я отошел. Хотя — попробовать еще: она ж хочет! Тут каждый другого боится — и оттого превентивно нападает — так это бывает с хрупкими любимыми психеюшками в семейке нашей.

Постучал снова. «Не заходи. Говори через дверь!» — «Я не хочу к тебе заходить, а просто хотел предложить: вместе часа на два сходить на лыжах — я тебе новые места покажу». — «Я не пойду с тобой. А новые места я сама прекрасно знаю (не знает мои!..). Я сама люблю ходить. (Постепенно смягчается тон). А сегодня ты ж пойдешь в дальний лес, а я в ближний...»

Во всяком случае полезный разговор состоялся — и маленький шагок к прощению меня и к общесемейному благу.

Но как мощен и многообъясняющ сюжет «Василия и Василисы» — и у нас, и вообще в XX веке! Конечно, он, мужик, вышел — похлипче, пожиже. Баба ж — фундаментальнее, и честнее, и крепче. Но ведь и среда-мир, в котором ему вращаться и иметь с чем дело, — стократ ужаснее и призрачнее, труднее там разобраться, нежели ей в своем мире: дети, дом, корм — тут Матерь Природа и Жизнь помогают, наставления дают прямо. И потому они — сильнее и праведнее и с основанием могут мужика презирать и осуждать: что мир таким устроил за тысячелетия своего патриархата, да и в век сей, слово-ложь всю нагородил, — и дурак он, и малодушен, и пьяница...

Но вот постепенно она, жестянея в праведности своей и осуде, становится антиженщиной, началом Власти и Суда — не страшного, а мир-

ского, людского. И он, себя виноватым все чуя, крест покаяния неся,— праведнее оказывается... Она же — бедная, ожестяневшая дура, стала уже рабыней своей осуды, сторожем исполнения своего приговора, исполнена им как содержанием своей жизни. Так что именно она — в заключении душевном (хотя он — во внешнем: в амбаре), он же — как птица, душою все более волен — и возлетает (и в кинофильме метафора птицы дана, хотя это уже при смерти его: душа улетать зовется...).

— Гоша! — жена взшла (сожалая и мягчея уже, видно: не Василиса она! Не сторож своей злобы и гнева. Не может так долго).

Но как она одновременно вышла на ту мысль и чувство, что и я! Только я хотел записать: «А надо мне подняться и постучаться к Светлане (уже так, не «женою» ее именуя) и предложить: «Ну что мы будем — и долго еще сторожить мою вину и твою осуду? Ну да: виноват, плохо сделал — и вышло еще хуже... Ну не будем впредь, остережемся... Куда ж нам друг от друга деться-то? Да и зачем?..»

И она — тут как тут...

В 50 экземплярах

25.I.85. Предложили из «Литературки» выступить в дискуссии о ершистой творческой личности в коллективе Большой Науки. И вспомнил остроумные слова Маяковского: «Человек, впервые формулировавший, что «два и два четыре», — великий математик. если даже он получил эту истину из складывания двух окурков с двумя окурками. Все дальнейшие люди, хотя бы они складывали неизмеримо большие вещи, например, паровоз с паровозом, — все эти люди — не математики». А именно последним склонны заниматься научные коллективы: и покойно, и надежно, апробированно! — и деньги колоссальные, и премии идут, и важность свою чувствуют: большие дела делают!.. Так хоть на работу с окурочками выделите средства чудакам и «чайникам». Совсем ведь мало надо!.. Королев и Цандер со товарищи: несколько десятков человек в подвале делали то, что целый институт в 10 тысяч персон тогда не мог бы и лишь мешал бы, дай им решать вопрос об этой безумной идее и средствах на нее.

То же самое, когда единый моцный творческий союз распределяет средства и издания — кому достанутся? Руководителям, естественно, посты занимающим, а также — пишущим привычное. Ладно — пускай им львиная доля! Но хоть заячья пусть и выдумщикам достанется! А то ведь и мышьиной на это нет! Пусть им — миллионные тиражи роман-газет, но этому-то дайте хоть 50 экз. ротапринтного издания и за бесплатно! «Мастер и Маргарита», если б были изданы хоть в 20 экз. при их окончании пусть «на правах рукописи», пусть «не для распространения», — уже гарантированно сохранились бы в культуре, и не испытывал бы автор ужас и дрожь за судьбу своего детища, что и загнало его в могилу раньше времени. Ведь творец главную радость испытывает в процессе создания, а успех и деньги — это уже роскошь и вторичность. Но минимум, кото-

рый требуется: это дать не помереть с голоду, создавая, и чтоб не пропал труд, чтобы принят был в лоно культуры. А 20—50 экз.— это уже сохранность, и использование, и страховка от интеллектуальных воров, похищающих идеи, образы и целые теории...

Подвиг миропонимания

3.VII.85. Двадцать девятого года рождения будучи, я чуть не успел на войну, но она залегла в душе как краеугольный камень ее жизни, оселок самоиспытания. И главный вопрос — к себе: а ты как бы повел себя там, в атаке и под пыткой? Не сдрейфил ли бы? Не выдал?..

И — знать этого не могу: не дан мне этот опыт. А вопрос мучит, жжет непрестанно, особенно когда читаешь нашу литературу о войне, — и рану безответного вопроса все в тебе бередит...

Мое поколение ищет эрзацы, замены этому опыту: самочинно ввергаешь себя в «экстремальные», как это именуют, условия: в альпинизм, на флот я себя посылал — проверить... Но главный трудный опыт оказался, может, и не в этом.

...Нет, не так я начал, перенагну: именно гонимый неизвестностью насчет себя и воли своей в ситуациях физических (знаю, например, что драться боюсь, избегал всю жизнь — какой же ты мужчина?!), особенно чуток я стал к опасным ситуациям на том поприще, что мне доступно: в поисках истины и в трудностях нравственного поведения — тут мужество, оказывается, требуется тоже! Не скажу, меньшее или большее, чем на войне, но — требуется. И вот парадоксальный опыт моего поколения: сколько, бесконечное количество раз сталкивались мы с тем, что человек, известный своим мужеством на войне, герой в орденах, — боится высказать свое особое мнение по мизерному вопросу гражданской жизни или в науке и проч., если оно не согласно с общепринятым в сей миг (хотя, вероятно же: иное мнение будет общепринято через 10—12 лет и, может, именно его!) или вразрез с начальством... И чем ему это грозит? Не смертью же! Ну — косым взглядом начальства, ну — даже увольнением, но ведь жив останешься и кушать будешь! — ан герой наш сдрейфил, как заяц трепещущий...

А! Начинаю догадываться: тут ты один! не в массе этакующей. Дело в том (не все, конечно, но многое): «один в поле не воин» — эта установка парализует даже героя. Герой он, значит, не столько лично, но из воли и силы коллектива. «На миру и смерть красна». Из двух вселил: «Одна есть Смерть, другая — Суд людской» (Тютчев), последняя одолевает даже первую...

...Полдень. Прерван был: Коля Фирсов, сосед (его изба — с краю), мастер с ЗИЛа, подошел: «Не помешал?» — «Что ты! Напротив! Я как раз о нашем поколении думаю: ты же с 28-го, тоже не успел на войну. Как бы мы вели себя? Вот, почитай!» Сунул ему страничку эту — и отошел.

— Ну что ж. все правильно. Просто у нас уж такой обычай: всем

вместе — и голосовать за одно и то же. Отличаться — у нас не принято... А на войне? Да и мы с тобой, наверное, как все: нормально б себя вели. Вот у нас тут, в Дятлове, линия фронта проходила в 41-м. Я мальчишкой был. Один ротный напился — его расстреляли. А другой проспал и отстал от своей разведки — и его расстреляли. Это чтоб другие знали. Так что попробуй не пойти в атаку. Тут страх от своих посильнее.

— Ну, это на крайний случай... (если не хватит других в твоей душе, положительных сил, что в бой поднимают: товарищество, мцение, патриотизм).

Так вот: мужество в искании Истины и в высказывании своей мысли, не служить ЛАЖЕ, даже когда будто бы «общественность», в том числе художественная и научная, этого от тебя добивается, — вот это нам дано, на этом себя испытать. ПОДВИГ МИРОПОНИМАНИЯ — вот какое дело выпало нашему поколению, которое история прогнала сквозь строй идеалов, очарований, разочарований, выросшему среди ошибки идей, среди путаницы взаимоисключающих систем понятий и ценностей, когда ум за разум — воистину! — заходит... И этого труда и креста не свергают с себя лучшие в нашем поколении... Солдатом на этой войне, воином духа, истины, совести и культуры — и я себя чувствую — и так себя стараюсь вести в жизни и в мысли.

Но пример мужества — как раз от отцов и старших братьев, кто стояли лицом к смерти, а я — нет, и боюсь... Не знаю...

Журавль и Лисица

20.II.88. Заполучили мы сейчас взрыв национальной проблемы — как извержение вулкана, который мы долго усыпляли шампанскими заклинаниями о дружбе. Оно бы хорошо, да вот была у нас **дружба без понимания** национальных отличий в ценностях и понятиях. А это все равно, как дружили Журавль и Лисица и угощали своей пищей: намерения хорошие, а результат — вред и раздражение. Вот поглядел северянин-крестьянин на Казахстан: «Ба! Землицы сколько пропадает! Давай распашем!» — и вот ЦЕЛИНА как «всенародный подвиг» и премиальная книга. А через несколько лет земля, что была прекрасным пастбищем, где десятки миллионов овец паслись, коней и верблюдов, стала плохой пашней (ветер сдул гумус, и нет воды). И вот — ни хлеба, ни мяса... Тогда щедрый северянин готов отдать воду: «Друг ситный среднеазиат! Бери наши северные реки: перебросим Обь и Иртыш, Онегина и Печорина — забирай в Золотую орду!» — да она там даром не нужна: ветер ее вывезет и солнце выпьет, там лишь горные реки да колодцы — в таком жанре Вода-стихия содержания. А мы всем — одно: как одну идеологию и совет — так и одну индустрию: девятиэтажки в сейсмический Ленинкан в Армении и в чухонскую топь...

А Афганистан? Тоже рассудили логикой и тактикой равнинного жителя о горножителях. Да и их стадия исторического развития так ли

уж требовала перепрыгивать через эпохи и уклады: от пастушества — в индустриальный социализм, а чабана, что все же себя кормит, превращать в пролетария, который митингует и покупает (или отбирает) готовое?..

В национальном (как и во всем) нужно проделывать МЫСЛЕННЫЕ ЭКСПЕРИМЕНТЫ — прежде чем в практику и технику свои решения запускать. А у нас зубры идеологии, стоя на четких позициях своих убогих понятий, показуху имитаторов мышления принимали-поддерживали, что ЛАЖУ и ТУФТУ выдавали вместо понимания. Вот и дошли у нас до дел уголовных — во многом из-за того, что не давали делать трудов научно-исследовательских. И в политике национальной не надо лезть-навязывать другому народу мое хорошее: оно, может, ему плохое, не по вкусу, сгношнит...

Государство писателей

15.III.89. Не отпускает меня мысль о вербальности (многоглаголивости) нашего социума (строя). И трудность литературы советской усугублена тем еще, что у нас не только писатели ею занимаются, но само государство — литератор! Все его органы и министерства — писатели: резолюции, реляции, отчетности, постановления — это же колоссальная литература, потоки, моря словесности. Их — писать, читать, изучать!.. И главная амбиция Правителя была не в том даже, чтобы навесить на себя в мирное время Звезду Героя Советского Союза, но чтобы писателем прослыть, сочинителем, быть в члены Союза писателей принятым, в наши ряды!

Лестно... Но и опасна такая опека, близость и забота. Из-за этой близости спутываются наши дела и профессии. Аппарат власти вместо дел практического правления в словесности упражняется: какой бы лозунг выкинуть, формулировочку поярче, броскую. А уж сколько придумано соцсоревнований — и не упомнишь, за что: и «последний день месяца — на сэкономленном сырье!», «и за того парня!»... Изощряемся и в переназваниях: «индивидуальный подряд» — так ведь одиночника шифруем. А «Продовольственная программа», а «примкнувший Шепилов» — звучные слова, яркие образы-метафоры! Поэт позавидует!..

И все пишут. Врачи не лечат, а пишут на каждого из нас медицинское досье. Так же и в кадрах: разыскания «анкет» («розыск» по-французски), жизнеописания целые... И все это проверять, редактировать — люди нужны литературно обученные.

Итак, гигантская паралитература возникла у нас параллельно с художественной; и давно спутываются эти ремесла: все ведь грамотные нынче, и «не боги горшки обжигают». Где резолюция сочиняется как роман, там и роман толкуется как резолюция.

Пришвин писал: литература воскреснет, когда заниматься ею станет невыгодно, а у нас в высшей степени выгодно — и именно посредственностям. А читателю бедному где разобраться, что хорошо, что плохо

в завале этом девальвированного Слова? Вроде все — книжки, все — в обложках...

Итак, у нас в стране давания советов, литература — больше, чем художественная литература. Ну что ж, в превратном и ид^е так продолжена традиция русской литературы века девятнадцатого, которая была универсальной формой общественного сознания, национальной философией.

Газеты хвастаются: получили столько-то десятков, а то и сотен тысяч писем. А чего тут хвастаться? Это статистика людского бессилия. Кабы человек мог сам что-то делать у себя на месте, не писал бы и не заседал бы на собраниях, а делал без лишнего звука-крика. Так нет же: всем нам предоставлено постыдное право посылить во всенародную, как Волга, Жалобную Книгу. Это отвод деятельной энергии снова в Слово. Не от хорошей жизни все у нас писателями заделались. Государство писателей! Наводнение серой словесности в советское время — словно расплата за «Золотое Слово, со слезами смешанное» русской литературы XIX века. Так что, друг Слова, слух на него имеющий, хочешь, чтобы «слова, слова, слова...» твои были ступенями ракеты-носителя в возлётании духа по вертикали в Слово или чтобы пулялы трассирующие по площадной горизонтали — в свалке слов, где не разбери поймешь и не расслышишь?.. Но ведь между молитвой и газетой — и Достоевский: вечный то крест писателя.

А вообще-то хорошо — замолкнуть. Сесть на землю, завести семью, как микросоциум во любви и правде, с ярмарки литературы уйти и принять обет пифагорейского молчания — годков этак на пять — десять. Если недуг словописания пройдет — и слава Богу: кобыле легче... Но только чтоб по своей воле. А то, если вышвырнут насильно (как многих во времена «застоя»), напротив, графомания развивается: я это испытал...

В творческом ГУЛАГЕ

20.III.89. Спросили меня в интервью для «Книжного обозрения»:

— А как удалось просуществовать вольным мыслителем во времена застоя?..

— Пришлось искать свой путь. Строгие ученые меня от себя оторгли: не могу я на их шифре выражаться. Диссидентство — негативно-богемно, а я домосед-семьянин, боюсь органов и люблю книжки читать и писать мысли. Так уж лучше вообще уйду с поверхности в «глухую незнанку» и буду жить втихаря и писать в себя, без расчета на печать, радость имея лишь от самого процесса мышления и творчества. Так и решил: пока бьет во мне творческий родник, буду писать, а когда выдохнусь — начну издавать: может, и время тогда переменится?..

Так и жил-работал я эти 25 лет в своем творческом ГУЛАГе (в расчете на пожизненное заключение, но на «вышку» не шел: боялся. Да и героизм не мое дело: однократно-абстрактное поведение. А я мужик — Георгий-«Земледелец», по-гречески, так что мое дело: бабузе-

млю-культуру пахать и возделывать...) — и не внакладе и не в обиде. Напротив, превзыскан: вкусил полную свободу мысли, творчества и слова. Ведь когда ничего не разрешено — тогда все можно! Уж раз в себя и для себя пишу — так что ж стесняться? Обо всем могу поразмыслить и записать — как Бог на душу положит, забыв и о наличии власти, и цензуры, и читательской публики в том числе. Я же к ней все равно прийти не могу: между нами церберы-редакторы. И сначала я должен им угодить, чтобы они не дрожали (а стращали их все более панически!..) — тогда уж, может, допустят до читателя.

— Практический вопрос: как вы жили эти четверть века? За отказ кривить душой, по-моему, никогда еще не кормили те, кто заинтересован в этом «покривлении».

— Ну, во-первых, на путь сокращения потребностей встали мы с понимающей женой, с детками. Еще 20 лет назад избу арендовал — и натуральное хозяйство повел, материальное и духовное: полдня умом, полдня руками корм добывал. Чем писать статейку в духе «чего изволите?» и душу продавать, а на проданную душу картошку покупать, да я лучше сам эту картошку (да получше) на вольном воздухе выращу, а душу на чистую мысль употреблю...

И еще одна чисто психологическая выкладка мне помогала. Если бы отцу твоему, умершему на нарах на Колыме, сказали: вот тебе квартира в Москве, изба в деревне, возлюбленная жена и семья, малая зарплата-пенсион, совершенно свободное время заниматься и писать, что хочешь, — с одним условием, что при жизни не будет издано, а после смерти — неизвестно, — не счел ли бы он такой жребий за рай?..

Так что благодарю за «застой» — нетревожное время несуетного мышления и сосредоточенной духовной жизни. Дух, не имея возможности обнаруживаться на поверхности, ушел во глубину и там обитал. Теперь же я себя чувствую, как глубоководная рыба, которую на поверхности поспешное мелководье вытаскивают. Наше время — отзывчивой на текущую ширпотребу публицистики и быстреньких мыслиц, а на спокойное сосредоточение и медленное чтение также нет установки и некогда. И не умер ли мой читатель?.. В эпоху «застоя» мысль моя была тревожна, как идеологически-философская «крамола», и не могла выйти в свет. Потом она не шла — из-за жанра своего, научно-художественно-личного (нигде «не по профилю»: я — жанровый преступник, нарушитель границ разделения труда между отраслями культуры). Ну, а теперь людям отругаться охота, телевизор смотреть, рок плясать — зуд некий в душах, и не тянет читать «роман старинный, отменно длинный», какие я себе писал в блаженстве отчаяния от выхода в свет на публичную площадь...

СОДЕРЖАНИЕ

Господин Восхищение. (Повесть об отце)	3
Жизнемысли	23

ГАЧЕВ Георгий Дмитриевич

ЖИЗНЕ-
МЫСЛИ

Редактор В. Н. Вигилянский

Технический редактор Т. Я. Ковынченкова

Сдано в набор 14.07.89. Подписано к печати 28.08.89. А 08911
Формат 70 × 108¹/₃₂. Бумага газетная. Гарнитура «Гарамонд». Печать офсетная.
Усл. печ. л. 2,10. Усл. кр.-отг. 2,28. Уч.-изд. л. 3,35.
Тираж 150000 экз. Зак. № 946. Цена 20 коп.

Ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции типография имени В. И. Лени-
на издательства ЦК КПСС «Правда», 125865, ГСП,
Москва, А-137, ул. «Правды», 24.

ЗАЛОГ ДОЛГОЙ ЖИЗНИ — ЗДОРОВЬЕ

● **Укрепить его, накопить деньги** для путешествия или полноценного отдыха Вам поможет договор смешанного страхования жизни.

● **Госстрах окажет Вам материальную помощь**, если Вы заключите договор с ним сроком на 5, 10, 15 или 20 лет. Застраховаться могут мужчины и женщины в возрасте от 16 до 70 лет по тарифу «А», «Б» или «В». В зависимости от тарифа страховая сумма при утрате трудоспособности в результате травмы выплачивается в двойном или тройном размере. По окончании действия договора выплачивается полная страховая сумма.

● **В своем завещании страхователь имеет право назначить любое лицо** для получения страховой суммы.

● **Заключить договор можно в инспекции госстраха** или у страхового агента по месту жительства или на дому. Здесь же Вы подробнее ознакомитесь с условиями страхования.

● **Смешанное страхование жизни** — это и помощь в трудный час, и удобная форма накопления.

**Правление государственного
страхования СССР**